

Владимир Жабинский

# ПРОСВЕТЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЦОПЭ»

**Владимир Жабинский**

# **ПРОСВЕТЫ**

**Заметки о советской литературе 1956-57 г.**

Издание Центрального Объединения  
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

---

Мюнхен

1958

Все права сохраняются за автором.

---

Printed in West Germany.

Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstr. 3 b. Tel. 29 51 36.

**П р о с в е т ы**



## **БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ**

Владимир Иванович Ж а б и н с к и й родился в 1914 году.

Окончил школу-девятилетку в Ростове на Дону. Работал электро-монтером, плановиком, прорабом на производстве и строительстве (промышленном, городском, сельскохозяйственном). Затем учился на литературном факультете Ленинградского университета.

Во время «ежовщины» был арестован по обвинению в контрреволюционных преступлениях. В заключении в «Сегежлаг» (Карелия) работал старшим прорабом «Сегежстроя». В ноябре 1941 года из лагеря бежал.

Во время войны работал начальником цеха. Был мобилизован в армию.

После войны в чине подполковника служил в Германии. После демобилизации служил при советской военной администрации в Берлине уполномоченным по репарациям Министерства промышленности строительных материалов СССР.

В 1947 году ушел на Запад.



## О Г Л А В Л Е Н И Е

Вступление .....	11
Рассвет .....	26
«Не хлебом единым» .....	33
«Семь дней недели» .....	66
«Квартира № 13» .....	73
Колхозная деревня .....	84
Молодежь .....	99
Кающийся коммунист .....	110
Человек с войны .....	118
З/К .....	125
«Органы» .....	136
Армия .....	148
Новый социальный слой .....	165
Эмиграция .....	169
Религиозность .....	176
Любовь .....	180
Не бойся — правда свое возьмет! .....	193
Послесловие .....	196



# Вступление

## 1.

Когда в советских журналах стали появляться такие произведения, как рассказ «Собственное мнение» Гранина, роман «Не хлебом единым» В. Дудинцева, поэма «Семь дней недели С. Кирсанова или «Станция Зима» Е. Евтушенко, когда появился альманах «Литературная Москва», повсюду пошли разговоры о «литературном НЭПе», о литературной «оттепели»; растерявшиеся думали: может быть, и правда, что все беды были от Сталина и партийная диктатура может допустить, если не полную свободу, то полусвободу творчества. Были и такие рассуждения: «Большинство членов Президиума ЦК — инженеры и хозяйственники, они знают, что без творческой свободы все обречено на застой и отставание».

Но люди, знающие советскую действительность, знакомые с «кухней» советской литературы, вчитываясь в появлявшиеся критические произведения, думали: за этим что-то есть, кто-то за этим стоит!

Эти «кто-то» стояли не столько за авторами критических произведений, сколько за редакторами журналов. Среди редакторов значились долголетние члены ЦК — А. Сурков (председатель Союза советских писателей) и М. Шолохов, затем К. Симонов и другие, известные в СССР под кличкой «писателей-при» — при Политбюро, при Президиуме ЦК. Сами по себе они не могли печатать в журналах произведения, критиковавшие многие стороны, а то и самые основы режима. Было ясно, что партийные литературные вожди действовали с согласия или одобрения кого-то из ЦК и из Президиума ЦК. Молотова, Кагановича, Ворошилова в числе поддерживавших критическую литературу быть не могло — критика была направлена явно против них. К тому же, Молотов, став в 1956 году министром госконтроля, немедленно обрушился на писателей и работников искусства с требованием в творчестве партийности и только партийности! Булганин, Микоян к литературе отношения не имели, правда, Микоян на 20-м партсъезде первым выступил против сталинской фальсификации истории. Инженеры Маленков, Первухин, Сабуров занимались делами промышленности. Шепилов в дни, когда появились на свет основные критические произведения, был министром иностранных дел. Оставался секретариат ЦК во главе с первым секретарем Хрущевым. Но начавшиеся с конца 1956-го года нападки казенной критики на Дудинцева, Гранина, Алигер, а затем против редколлегии и авторов альманаха «Литературная Москва»

были явно организованы секретариатом ЦК. Особо жестким нападкам они подвергались в Киеве — долголетней вотчине Хрущева, руководимой его ставленниками.

Собрания писательского партактива, направленные против критических произведений и их авторов, прошли по всем республиканским центрам, а это значило, что новое течение в литературе заступников не имело ни среди секретарей ЦК республик и обкомов, ни в секретариате ЦК. Тогдашний глава Управления пропаганды и агитации ЦК, старый сталинец, Суслов, вряд ли мог быть тайным другом писателей, не говоря уже о том, что он не обладал достаточной для того силой. Некоторым казалось, что таким другом писателей мог быть Аристов: один иностранец, хорошо владеющий русским языком, разговаривал в Ленинграде с пятью молодыми доцентами — членами партии, и они сказали ему: «Разговаривать с кем-нибудь на верхах никакого смысла не имеет, вот только что, может быть, с Аристовым».

Одним словом, вопрос, кто из власть имущих стоял за критическими произведениями, долго оставался без ответа. Одно было ясно: «кто-то» существовал. Не мог же, скажем, Семен Кирсанов — человек по натуре боязливый и даже трусливый, всю свою жизнь живущий и пишущий в соответствии с «генеральной линией партии», — не мог же он вдруг набраться такого мужества, чтобы написать поэму «Семь дней недели»! Для характеристики Кирсанова приведем пример: в 1937 году был арестован его многолетний старший товарищ критик М. Зенькевич; Кирсанов в доме Зенькевича многие годы дневал и ночевал; но когда жена Зенькевича — добрая, простая женщина — позвонила по телефону Кирсанову и сообщила ему о несчастье, тот испуганно ответил ей: «У нас никого напрасно не арестовывают», — и повесил трубку. Мог ли такой человек сам по себе написать поэму, жестоко критикующую и партию и правительство? Конечно, нет.

Только после июньского Пленума ЦК в 1957 году выяснилось, кто стоял за критической литературой в 1956-57 г. Это были: Маленков (с Первухиным и Сабуровым), Шепилов и... Хрущев.

Вот что писал теоретический и политический орган ЦК КПСС — журнал «Коммунист» в июльском номере 1957 г. (первом после Пленума):

«Они (писатели — В. Ж.) добивались свободы критиковать нашу действительность не с целью устранения недостатков, укрепления нашего социалистического строя, а с позиций огульного охаивания его. Появились произведения, сознательно или несознательно, написанные в таком духе. Эти произведения — роман Дудинцева «Не хлебом единым», рассказ Яшина «Рычаги», поэма Кирсанова «Семь дней недели», рассказ Гранина «Собственное мнение» и некоторые другие... Нигилистическую позицию пыталась занять и группа писателей из редколлегии альманаха «Литературная Москва»... Названные выше произведения и писатели имели защитников, которые способствовали длительному упорству в отстаивании ошибок.

Огромную долю ответственности за распространение нездоровых тенденций среди части художественной интеллигенции несет Шепилов... Находясь у руководства идеологической областью, ... он вел себя, как двурушник и в решении вопросов искусства. В своих публичных выступлениях и особенно в практической работе он проявлял примиренческое отношение к нездоровым тенденциям, имевшим

ся у некоторых писателей и деятелей искусства. В погоне за личной популярностью он стал на путь заигрывания с демагогами, пытался проводить платформу «шире» партийной. Шепилов делал вид, что он выступает с партийных позиций за предоставление простора для деятельности художественной интеллигенции, игнорируя при этом... непримиримость ко всему чуждому... Шепилов делал уступки анархическим элементам».

В той же передовой «Коммуниста» дальше говорится:

«Определенный вред развитию литературы и искусства нанес не только Шепилов, но и другие участники антипартийной группы, к которой примкнул Шепилов. Например, Маленков...».

Как было уже сказано, вряд ли «Коммунист» имел в виду Молотова и Кагановича, известных своим партийным подходом к вопросам литературы и искусства. Критические произведения направлены прежде всего против «монополиста» Молотова и «Вторникова» — Кагановича. Под «другими участниками» «Коммунист» подразумевает, кроме названного по имени Маленкова, двух его соратников со студенческой скамьи — Первухина и Сабурова. Подтверждение этому имеется в другой передовой того же номера «Коммуниста»:

«Участники антипартийной группы отошли от ленинского понимания руководящей роли Коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата. Ведь это факт, что один из них утверждал, что у нас якобы существует диктатура партии, ...а другие, пытаясь обосновать **необходимость примата государственных органов над партийными** (подчеркнуто мной — В. Ж.), извращали ленинское учение о роли партии после победы пролетарской революции».

Именно идея такого «примата» проходит красной нитью через большинство критических произведений. Положительные герои этих произведений — как правило — хозяйственники, руководители промышленности и сельского хозяйства, специалисты, деловые люди государственного мышления, а отрицательные — чаще всего «люди партии»: секретари обкомов, райкомов, парторги ЦК, хозяйственники, действующие с партийных позиций.

Скрытая борьба между партийными хозяйственниками и технической интеллигенцией, с одной стороны, и партийными аппаратчиками — с другой стороны — заметна почти во всех значительных художественных произведениях 1956-57 г.г. Во главе первых стоял Маленков, во главе вторых — Хрущев. И хотя на июньском Пленуме ЦК победили аппаратчики, в литературных произведениях побеждают хозяйственные инженеры, интеллигенция. Успех этих произведений среди советских читателей показывать, что идею примата «государственных органов над партийными» поддерживают широкие круги советского общества. Победа партаппаратчикам досталась потому, что в их руках находится аппарат партии, едино действующий по всей стране через партийных наместников в провинциях, и еще потому, что их поддержал маршал Жуков с высшим генералитетом, в руках которых находится другой единое действующий аппарат — армия. Интеллигенция же, хозяйственники раздроблены, особенно сейчас — после

децентрализации управления промышленностью, которую партаппаратчики провели, чтобы лишить хозяйственников и техническую интеллигенцию единых центров, с целью снова подчинить себе и контролировать гигантскую все время растущую промышленность.

Почему же тогда мы говорим, что за критическими произведениями литературы стоял и Хрущев со своим секретариатом ЦК?

Для этого стоит перечитать постановление июньского Пленума ЦК 1957 г. Многие в этом постановлении совпадают с тем, о чем говорится на языке художественных образов в критических произведениях. Приведем несколько цитат из этого постановления:

«Товарищ Молотов, проявляя консерватизм и косность...

Сопrotивлялись мероприятиям... по ликвидации последствий культа личности, по устранению допущенных в свое время нарушений революционной законности...

Сопrotивлялись мероприятиям по борьбе с бюрократизмом, с сокращением раздутого государственного аппарата...

Они обнаружили непонимание новых назревших задач, они не признавали необходимости усиления материальной заинтересованности колхозного крестьянства...

Они возражали против отмены старого бюрократического порядка планирования...

Они находились и находятся в плену старых представлений и методов, оторвались от жизни... не видят новых условий, новой обстановки, проявляют консерватизм, упорно цепляются за изжившие себя формы и методы работы, отвергая то, что рождается жизнью... Они являются сектантами и догматиками, проявляют начетнический безжизненный подход к марксизму-ленинизму».

Именно об этом писали, именно это критиковали Кирсанов в своей поэме, Дудинцев в своем романе и другие писатели. Критика эта направлена не против Маленкова, Сабурова, Первухина, а против Молотова и Кагановича. Теперь Хрущев нарочно, с умыслом смешивает их в одну группу. Но на собрании партактива Москвы и Московской области в 1957 г., вскоре после июньского Пленума Хрущев признался, что «антипартийная группа» состоит из «догматиков» и «либералов». Вот для борьбы с «догматиками», то-есть против самых старых авторитетов в партии—Молотова и Кагановича — он, Хрущев, и поддерживал критическую литературу. И надо признать, произведения эти оказали Хрущеву немалую помощь. Особенно в части критики, направленной против виновников сталинского террора, — в 1937-ом году Хрущев не был членом Политбюро и не нес такой ответственности, как члены Политбюро Молотов и Каганович, и как ближайший помощник Сталина в подготовке «ежовщины» Маленков. Не случайно в литературе освобожденные из лагерей обычно провели в заключении 17 лет, то-есть были арестованы в 1937 году. Что касается критицизма в произведениях на колхозные темы, то там он начался по прямой указке Хрущева — он нужен Хрущеву для его сельскохозяйственной политики. Отметим, что кроме А. Яшина, Ю. Нагибина и Н. Жданова, посмеявшихся в своей «сельскохозяйственной» критике затронуть партруководство, никому из писателей за критицизм не попало.

Кроме того, стоит вспомнить поведение Хрущева перед 20-м парт-

съездом, его речь на закрытом заседании съезда, его поведение после съезда, когда он, что называется, из кожи лез вон, чтобы показать себя человеком «новых методов и форм», свободным от догматизма, поборником законности, защитником безвинно осужденных; стоит вспомнить его поездки по стране — по колхозам и заводам, — во всем этом нетрудно заметить некое сходство поведения Хрущева с поведением некоторых героев критических произведений.

Вспомним, что первый номер альманаха «Литературная Москва» вышел в марте 1956 года, рассказ Гранина «Собственное мнение» в августе, роман Дудинцева в августе-сентябре-октябре, поэма Кирсанова в сентябре и что казенная критика встречала их с одобрением — вплоть до ноября.

Почему же Хрущев через секретариат ЦК и своих литературных надзирателей организовал поход против тех же произведений и их авторов? Потому что Хрущев понял, что многое в этих произведениях оказалось на руку его противнику Маленкову, многое было направлено против него самого, а еще больше против всего режима партийной диктатуры в целом. Хрущев вначале старался локализовать действия критических произведений в Москве, всячески мешая распространению их в провинции. После же событий в Польше, а особенно в Венгрии Хрущев просто испугался — испугался, что критические произведения могут и его и весь режим подвести к катастрофе. Как известно, революцию в Венгрии фактически организовали венгерские писатели (и не просто писатели, а писатели — члены коммунистической партии!) и молодежь. Не случайно во время Пленума правления Московского Отделения Союза советских писателей «Правда» 18-го марта 1957 г. перепечатала статью из будапештской газеты «Непсабадшаг», в которой рассказывается, как началась революция:

«Демонстрацию студентов 23-го октября в течение недель и даже месяцев подготовили организованные выпады определенных групп писателей и журналистов».

В июньском номере «Коммуниста» 1957 г. сказано еще определеннее:

«К каким последствиям может привести забвение ленинской принципиальности в вопросах руководства литературой и искусством, показали события в Венгрии. Либерализм в отношении демагогов, проявленный бывшим партийным руководством, привел к тому, что часть писателей нанесла огромный ущерб идеологической работе в Венгрии и способствовала подготовке контрреволюционного мятежа».

Далее «Коммунист» пишет:

«Шепилов не сделал необходимых выводов из этого печального примера и примиренчески относился к нездоровым настроениям. В результате некоторые демагогические элементы в среде художественной интеллигенции имели возможность распоясаться».

Сваливая все на Маленкова и Шепилова, Хрущев постарался развязать себе руки для того, чтобы надеть на литературу старую несколько подкрашенную партийную узду. Поэтому «Коммунист»

и изобразил дело так, что Хрущев, мол, не причем, что он не поддерживал через своих ставленников критическую литературу в интересах борьбы против своих противников в Президиуме ЦК. Тот факт, что ни Сурков, ни Симонов, ни даже авторы опальных теперь произведений не зачислены в подпевалы «антипартийной группы» косвенно говорит о том, что Хрущев до октября 1956 г. поддерживал критическую литературу. Он отрекся от этого потому, что теперь такая литература ему больше не нужна, она для него только опасна. Кто-кто, а Хрущев в вопросе литературы показал себя типичным двурушником сталинской школы.

## 2

Было бы несправедливо по отношению к советским писателям думать, что советская литература 1956–57 г. была только орудием междоусобной борьбы отдельных групп Президиума ЦК. Борьба эта дала возможность писателям написать и опубликовать ряд произведений, в которых проявилась — в разной мере, конечно, — правда о советской действительности, правда о советском человеке. Больше того, советским писателям удалось наметить и распространить в широких массах населения некую программу действия на будущее. Судя по реакции советского читателя и по испугу власти эта наметка встречена с большим сочувствием по всей стране. В этом огромное значение рассматриваемого периода советской литературы, начавшегося перед 20-м партсъездом и закончившегося июньским Пленумом ЦК 57-го года.

За сорок лет после Октября всякий раз, когда в железобетонной крышке партийной диктатуры появлялась трещина, в нее сразу же пробивались ростки настоящей литературы. Так было, когда диктатура была вынуждена пойти на НЭП, так было во время войны, когда сам Сталин взмолился — «братья и сестры!». Так случилось и после смерти диктатора: появилась статья Померанцева «За искренность в литературе», роман В. Гроссмана «За правое дело», роман Некрасова «В родном городе», первая часть романа И. Эренбурга «Оттепель». С каждым послесталинским годом кризис диктатуры разрастался — в ее «монолите» появлялось все больше и больше трещин. Каждая трещина давала возможность для новых правдивых литературных произведений. Пользуясь внутренней борьбой на партийных верхах, официально объявленным «преодолением культа личности», возвратом к так называемым «ленинским принципам» (по сути, таких принципов нет — ленинские писания полны противоречий: «Ленин что дышло, куда повернул — туда и вышло», — так говорят в СССР еще со времен борьбы Сталина с «правой» и «левой» оппозициями), пользуясь, наконец, ликвидацией всемогущества органов террора, многие писатели, поэты, критики стали писать о том, о чем прежде писать было просто невыносимо. Изображаемые картины — иногда вольно, а чаще невольно — в силу художественной правды, — вышли далеко за пределы разрешенных властью рамок, и читатель увидел действительные корни многих пороков советской жизни.

Помогла этому и наследственная черта русской литературы — ее склонность к иносказательности, порожденная, с одной стороны, историческим деспотизмом с его цензурой над живым и печатным словом,

с другой стороны — образным складом русского, славянского мышления. Советское литературоведение эту наследственную черту усилило в том смысле, что приучило советского читателя и писателя видеть в художественном произведении прежде всего символы общественных явлений. Советский человек со школьной скамьи приучен видеть в «Ревизоре» или «Мертвых душах» — николаевскую Россию, в «Евгении Онегине» — крепостническую Россию (Белинский), в произведениях Льва Толстого — «зеркало русской революции» (Ленин), и так далее. Советское литературоведение приучило современное поколение советских людей видеть в художественном произведении не столько то, о чем повествует писатель, сколько то, что «отражает» это произведение.

Кроме того, очень часто советский читатель видит в литературном произведении то, что ему хочется видеть, а все остальное принимает, как «принудительный ассортимент». Советский писатель хорошо это знает. Такое сочетание дает большой простор для разговора между писателем, не всегда понятного постороннему. Советский читатель давно и хорошо научился читать между строк, но не менее верно, что и советский писатель научился писать между строк.

Этим, собственно, и объясняется огромный успех многих произведений 1956-57 г. у советских читателей и в то же время непонимание этого успеха на Западе — на Западе, кроме «борьбы с бюрократизмом», в на шумевших произведениях ничего, по сути, не увидели. Людям, не имеющим или утеревшим ассоциации советского читателя не легко понять весь смысл происходящего. Автор очень любопытного произведения «Сонет Петрарки» («Литературная Москва» № 2, 1956) Н. Погодин вложил в уста своей героини слова, которые прямо относятся к людям, видящим в произведениях советской литературы только то, что в них написано в буквальном смысле слова:

«Майя: Ах, Катя, ну какая же ты буквальная! **Неужели не ощущаешь символов?** (подчеркнуто мною — В. Ж.).»

Значение критических произведений советской литературы 1956-57 года в том, что они не литературные иллюстрации к очередным постановлениям «партии и правительства», а зеркало, — правда, далеко не ровное, туманное, местами в старых пятнах, но в котором впервые за много лет можно разглядеть и советскую жизнь такой, какая она есть, и советского человека с его сокровенными надеждами и чаяниями.

Эта внутренняя связь литературных произведений с жизнью видна еще в том, что именно в этот период в стране появились рукописные журналы учащейся молодежи, в которых студенты и школьники старших классов переключаются с писателями. До нас дошли сведения о существовании рукописных журналов: «Ересь» — в Ленинградском библиотечном институте имени Крупской, «Голубой бутон» — в Ленинградском университете, «Культура» — в Ленинградском Технологическом институте, «Свежие голоса» — в Академии железнодорожного транспорта имени Образцова, «Комсомольская правда» (в противовес казенной «Комсомольской правде») в Ленинградском Горном институте, «Трибуна» — в Московском университете, «Фиговый лис-

ток» — в Вильнюсском университете. Таких журналов по стране существовало, а, может быть, существует и поныне не один десяток.

О чем же пишут студенты в своих рукописных журналах? Студентка Ленинградского Горного института Лидия Гладкая написала в ответ казенной пропаганде, утверждающей, что советская молодежь «бодро шагает по жизни под руководством родной партии и любимых вождей»:

**«А я вот не знаю, куда и идти мне,  
Дорогу спросить у кого и какую...  
Голос мой тих и настроен интимно —  
Люди, переведите слепую».**

Студент Иван Харабаров написал такие стихи:

**«...Чтоб руками неживыми  
Оглушить меня навек,  
Чтоб забыл я вместе с ними  
То, что был я человек.  
Что тут крики бесполезные,  
Не видать кругом ни зги,  
Люди страшные, железные —  
Неподвижные мозги.  
Выхожу один навстречу  
Их бесчисленным рядам...»**

В «железных людях» молодого студента Ивана Харабарова не трудно узнать дудинцевских «монополистов», кирсановских «вторниковых» и других литературных типов представителей правящего класса партийной бюрократии.

Советская молодежь сегодня, особенно студенческая молодежь, — это актив советских читателей и писателей. Это они устроили бурную манифестацию автору романа «Не хлебом единым» в октябре 1956 г. в Московском Доме Писателей — властям пришлось вызывать конную милицию. Это они кричали тому же Дудинцеву в Ленинградском университете: «Дроздов!», когда Дудинцев стал говорить, что студенты «неверно поняли роман».

Такая реакция советского студенчества и большинства советских читателей и напугала Хрущева. Он знал, что вышло из единения писателей с молодежью в Польше и Венгрии. Он испугался, что, гонясь на шахматном поле литературы за турой-Молотовым и конем-Кагановичем, он может попасть в гомулковский цейтнот и проиграть Маленкову, а еще, того хуже, игра может окончиться венгерским вариантом.

Опасения Хрущева были не без оснований, потому что критические произведения и высказывания писателей 1956 года очень напоминают произведения и высказывания польских, венгерских и других писателей Восточной Европы, перед октябрьскими событиями в Польше и Венгрии. В мае 1956-го года венгерский поэт Кароли Иоббаги напечатал в журнале «Чиллаг» стихотворение «В болоте»:

**«Не говорите нам о будущих путешествиях на Марс,  
Когда наша деревня тонет в болоте.  
Не говорите нам, что вы думаете о нас,  
О наших нуждах:  
Мы вам больше не верим.  
Нечего нас уверять,  
Что в Африке люди живут хуже,  
Мы живем не в Африке, а в Европе».**

Месяцем раньше в Праге, на съезде писателей Чехословакии, писатели Франтишек Хрубин, Ярослав Зайпер и другие открыто потребовали творческой свободы и правдивости в литературе.

Тогда же в варшавском журнале «Новая культура» появилась поэма Адама Важики:

**«Есть люди, которые кормились теориями  
И потеряли человеческий облик.  
Они жили мечтой  
И забыли человека.  
Ложь стала их повседневным хлебом...  
Они говорили о рассвете,  
Но ввергли нас в ночной мрак.  
Они говорили об идеологии  
И лгали так долго,  
Что сейчас уже не в состоянии  
Говорить человеческим языком.  
Кровь умерщвленных в подвалах бюрократии  
Нельзя смыть пустыми фразами...»**

Незадолго до октябрьских событий в Польше поэт Виктор Варшавский опубликовал в молодежном еженедельнике «Простору» поэму «Вопросы партийного человека»:

**«Партия — это мозг рабочего класса,  
Значит ли это, что у меня нет никаких мозгов?  
«Партия знает все». Но если я, например, сапожник,  
Должен ли я спрашивать ЦК,  
Как тачать сапоги?  
Или, если я садовник, —  
Должен ли я спрашивать партию,  
Как выращивать яблони и вишневые деревья?  
«Партия всегда права».  
Но значит ли это, что всегда правы те,  
Кто ее возглавляет?»**

Тибор Дери — генеральный секретарь Союза Писателей Венгрии в октябре 1956-го года говорил: «Мы вступили в такой период, когда писательская борьба за свободу творчества соединяется с общей борьбой за свободу народа».

Так писали и говорили в 1956 году писатели Польши, Венгрии и других стран Восточной Европы. О том же в других образах писали и говорили советские писатели. Это не совпадение — это следствие одной и той же беды, одних и тех же надежд.

То, что это не совпадение, а явление закономерное и единое, особенно видно, если сравнить критически произведения советских писателей с книгой югослава Милована Джиласа «Новый класс».

Милован Джилас тридцать лет был в коммунистической партии. Он был одним из руководителей югославской компартии, вице-президентом титовской Югославии — кто-кто, а Джилас знает коммунизм!

Основной тезис его книги заключается в том, что коммунистический режим создает не бесклассовое общество, а неизбежно приводит к возникновению «нового класса собственников и эксплуататоров»,

«состоящего из тех, кто извлекает особые привилегии и материальные преимущества из своей **административной монополии**» (подчеркнуто мной — В. Ж.).

Джилас пишет, что этот новый класс держит в своих руках тройную монополию:

«на собственность, идеологию и правление».

Сущность нового класса партийных монополистов, — пишет Джилас:

«скрывается под новыми коллективными формами собственности... —этой ширмы для прикрытия собственности политических бюрократов... Собственность — это не что иное, как право на контроль и доход. В самом марксистском определении собственности коммунистическое государство в конечном счете увидело основу для создания новой формы собственности и нового господствующего класса эксплуататоров».

«Диктатуру пролетариата», о которой теперь твердит Хрущев, Джилас определяет так:

«Теоретическое обоснование или идеологическая маска для прикрытия власти нескольких олигархов... Монополия, которую новый класс устанавливает над всем обществом, есть в первую очередь, монополия над самим рабочим классом».

Об исторической судьбе нового класса партийных эксплуататоров Джилас пишет:

«Проведя в жизнь индустриализацию, этот новый класс больше ничего не может создать. Он занят лишь укреплением своей грубой силы и ограблением народа. Его духовное наследство погружается во тьму. Его методы управления принадлежат к самым позорным страницам истории. Люди будут восхищаться созданными грандиозными сооружениями и будут стыдиться тех методов, которыми они были созданы. Когда этот новый класс сойдет с исторической сцены — **а это должно случиться**, то об этом будут меньше сожалеть, чем об исчезновении какого-либо другого класса в прошлом».

Джилас досконально знает внутреннюю кухню коммунистической власти и он раскрывает ужасающий характер коррупции и перерождения бывших революционеров:

«Вчерашние идеалисты превращаются сегодня в беспринципных и безжалостных носителей болезни коммунизма... Сознательная

ложь, фарисейство, клевета, обман и провокация становятся неизбежными спутниками темной, нетерпимой и всеохватывающей власти нового класса».

Приоритет партийных соображений, пишет Джилас, ведет к тому, что:

«коммунистическая экономика является, быть может, наиболее расточительной в истории человечества и таит в себе анархию особого рода: феноменальное развитие одних областей хозяйства маскирует отсталость других... Наибольшая расточительность даже незаметна. Это — расточение людской силы. Медленная, непродуктивная работа потерявших к ней интерес миллионов людей, вместе с запрещением всякой работы, которая не считается социалистической — вот та, неподдающаяся учету, незаметная гигантская растрата, которой не мог избежать ни один коммунистический режим... Эгоистические интересы нового класса и партийный (идеологический) характер экономики делают невозможным сохранение здоровой и гармоничной системы. Олигархия способна предотвратить экономический крах, но не может предотвратить хронические кризисы».

Далее Джилас пишет:

«Отсутствие всякого рода критики неизбежно ведет к расточительству и застою... Удушая в других сознание и подтачивая человеческий интерес так, чтобы подорвать мужество и не дать ему восстать, они сами становятся серыми, лишенными идей и того интеллектуального энтузиазма, который они стремятся подавить в других. Они возвышают пигмеев и уничтожают великих людей, особенно среди современников... История многое простит коммунистам. Но **удушение каждой несогласной мысли, абсолютная монополия на мышление** (подчеркнуто мной — В. Ж.) — вот что пригвоздит их к позорному столпу... Он (коммунизм) находится на высшей точке своей мощи и богатства, но у него нет новых идей. У него нет ничего нового, чтобы сказать народу».

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы увидеть, что большинство произведений советских писателей рассматриваемого периода является, по-сути, живыми иллюстрациями того, о чем пишет в своей книге «Новый класс» Милован Джилас. Случайно ли это? Конечно, нет. Книга написанная Джиласом в одиночной тюрьме в Югославии, и произведения, написанные советскими писателями в Москве, или в другом месте Советского Союза, — в их внутреннем единстве — только показывают, что они не ошибаются. Мог ошибиться один, но не могут ошибаться все, особенно не могут ошибаться миллионы советских читателей, проживших под властью коммунистического режима сорок лет! Не случайно партийные диктаторы так ополчились на книгу Джиласа, не случайно советская партийная печать из кожи лезет вон, чтобы советский читатель не узнал о книге Джиласа, которая обобщает то многое, о чем написали советские писатели в 1956-57 г.

Значение произведений советской литературы рассматриваемого периода огромно — миллионы советских людей услышали из этих произведений: **король гол!**

Сталинские наследники в борьбе за власть старались использовать литературу для своих целей. Писателям было разрешено критиковать

некоторые советские порядки, но так, чтобы недостатки выглядели временными, порожденными недомыслием или злоупотреблениями отдельных личностей. Но стоило появиться в печати критическим произведениям, как в дело вступил третий участник — читатель. Советский читатель сам дополнил своим сорокалетним опытом произведения, которые он прочел в журналах в 1956-57 г. Читатель увидел то, чего не ожидали партийные вожди, чего не ожидали иные писатели: он увидел, что недостатки и пороки, о которых рассказали писатели, не случайны и неизлечимы и что проистекают они из самой природы коммунистической идеологии и практики.

И то, что критические произведения прочтены и читаются по всему Советскому Союзу, несомненно помогает многие годы искусственно раздробляемому сознанию советского народа обрести единство мысли — в этом большое организующее значение советской литературы рассматриваемого периода. Произведения эти стали неким катализатором сложной духовной реакции в недрах советского народа. Именно этого так и испугался Хрущев с компанией. С мая 1957-го года по июль Хрущев устроил несколько «товарищеских встреч» с писателями в помещении ЦК КПСС. На трех «встречах» Хрущев сам выступал с длинными речами, уговаривая и запугивая писателей; это было 13-го мая, 19-го мая и в июле. В последней речи Хрущев заявил:

«Почему партия так много уделяет внимания вопросам литературы и искусства? Потому, что литературе и искусству принадлежит исключительно важная роль в идеологической работе нашей партии, в деле коммунистического воспитания трудящихся».

Хрущев нападал на критицизм произведений 1956 г. и на авторов этих произведений:

«Такие люди ошибочно, в извращенном свете трактуют задачи литературы и искусства. Они пытаются представить дело так, что будто бы литература и искусство призваны выискивать только недостатки, говорить преимущественно об отрицательном в жизни..., они цепляются за недостатки и ошибки тех или иных работников, сваливают без разбора и осмысливания все в одну кучу, запугивают себя и пытаются пугать других».

В такое незавидное положение попал, в частности, писатель В. Дудинцев. В его книжке «Не хлебом единым», которую сейчас пытаются использовать против нас реакционные силы за рубежом, предвзято надерганы отрицательные факты и тенденциозно освещены с недружеских нам позиций... У читателя создается впечатление, что автор этой книги не проникнут заботой об устранении увиденных им недостатков в нашей жизни, он умышленно сгущает краски... Сказанное особенно относится к альманаху «Литературная Москва». В этом альманахе были опубликованы порочные в идейном отношении произведения и статьи... Члены редколлегии альманаха продемонстрировали свое неуважение к критике их ошибок... Особенно следует сказать о тов. Алигер, которая и до сих пор придерживается того взгляда, что линия альманаха «Литературная Москва» была якобы правильной, она берет под защиту опубликованные в альманахе произведения, в которых протаскиваются чуждые нам идеи».

Особенно не нравится Хрущеву требования писателей свободы творчества:

«К сожалению, среди работников литературы и искусства встречаются такие люди, поборники «свободы творчества»... Этих людей тяготит руководство литературой и искусством со стороны партии и государства. Они выступают против этого руководства иногда прямо, а чаще всего прикрывают эти свои настроения и желания разговорами об излишней опеке, о сковании инициативы и т. п. ... В условиях социалистического общества... не существует вопроса о том, свободен или не свободен он (художник) в своем творчестве... В современном мире идет ожесточенная борьба двух идеологий — социалистической и буржуазной, и в этой борьбе не может быть нейтральных».

Своим жандармским окриком по адресу советских писателей Хрущев выдает свой испуг.

В конце 1957 г. на одном из очередных банкетов в Москве в посольстве одного из государств Восточной Европы Хрущев совсем распоясался. Зашел разговор о событиях в Венгрии и о роли в них венгерских писателей. Хрущев заявил, что надо было бы «расстрелять парочку» несогласных писателей и «ничего не было бы». Присутствующая на банкете поэтесса М. Алигер спросила: «Это что — угроза?». Хрущев ответил: «Мы протягиваем вам, писателям, руку, но эта рука не дрогнет и стрелять».

Недоучка Хрущев, как к стати весь коммунизм, действуя с позиций примитивно материалистических понятий, недооценивает психологические факторы: он понимает, что критицизм произведений 1956-57 г. направлен против него и против его режима, и он приказал изгнать из литературы критицизм. Но советская литература последнего периода имеет и другую характерную черту — человечность, гуманность. Именно по этим двум основным признакам советская литература рассматриваемого периода, как никогда за свои сорок лет приближается к русской классической литературе. Хрущев с компанией, конечно, знают об этой второй черте — они рассчитывают использовать ее для своей пропаганды коммунизма. Но человечность, гуманность, таит в себе не меньшую, а пожалуй большую опасность для коммунистического режима — человечность, в конечном счете, ведет к отрицанию коммунизма.

Когда мы отмечаем, что советская литература 1956-57 г. приблизилась к русской классической литературе по двум основным признакам — критицизму и человечности, мы имеем в виду ту роль, которую сыграла русская классическая литература в общественном развитии дореволюционной России, главное — ее роль в создании русской интеллигенции.

Именно на идеях человечности русской классической литературы воспитывалась русская интеллигенция. Вспомним «Записки охотника» Тургенева, пьесы Островского, поэзию Некрасова, все творчество Достоевского, Л. Толстого, Чехова! Разве не классическая литература оформила внутреннее содержание русской интеллигенции — ее свободолюбие, народность, жертвенность и, наконец, ее революционность?

В Советском Союзе интеллигенции, подобной прежней русской ин-

теллигенции, нет, — большевики методически истребили старую интеллигенцию. Но в Советском Союзе есть миллионы людей интеллектуального труда. Ежегодно учебные заведения выпускают около миллиона инженеров, врачей, техников, агрономов и других специалистов. В плане старой русской интеллигенции все это только полуинтеллигенция, хотя неизмеримо большая по массе и даже более значительная по знаниям. Для того, чтобы быть интеллигенцией в прежнем понимании, советской интеллигенции не хватает единства сознания, обобщенного критического отношения к режиму, и духовности, проникнутой человечностью. Именно это и появилось в произведениях литературы 1956-57 г. Если критицизм и человечность русской классической литературы помогли создать русскую интеллигенцию, ставшую ведущей и организующей силой русского общества в его стремлениях к свободе, то и сейчас советская критическая литература играет роль катализатора (и будет играть!) в превращении миллионов советских людей интеллектуального труда в новую интеллигенцию, которой, видимо, и суждено стать гробовщиком коммунистического режима. Как в прошлом веке, когда интеллигенция была некоей «партией» Свободы, так будет и в 20-м веке, а это особенно важно в советских условиях, где нет другой партии, кроме коммунистической.

Коммунистическая власть это понимает наполовину — она старается захлопнуть крышку над литературой в отношении критицизма. Насколько ей это удастся — покажет будущее. Известно только, что критическая литература в Советском Союзе «уходит в подполье». Одни писатели продолжают писать в запрещенном духе, в надежде на новые возможности, когда в железобетонной крышке диктатуры появится очередная трещина. Другие идут в «подполье» иносказательности и символа — у поэтов для этого больше возможностей, чем у прозаиков.

Третье «подполье» — рукописные произведения, которые ходят по рукам. Французский левый писатель Веркор рассказал в мае 1957 г. в газете «Ле Монд» о трех стихотворениях, которые ему удалось увидеть в Москве. Оригинальных текстов Веркор не привез, он пересказывает стихотворения по-французски. Первое стихотворение — эпиграмма, явно направленная на хрущевскую политику дальнейшей индустриализации:

**«Я строю и на песке.  
Мы строили на граните,  
Но камень крошится и разрыхляется,  
И исчезает под моими ногами.  
Но я буду продолжать —  
Буду ожесточенно строить  
Даже на песке!»**

Второе стихотворение говорит о новом сознании советского человека:

**«Пресмыкающийся гад сказал мне, скользя:  
— У каждого своя судьба.  
Но, глядя, как он ползает, я твердо знаю —  
Жить так невозможно — это не жизнь!»**

Третье подпольное стихотворение — о советском социализме:

«Ночь. Я иду по городу —  
Молчаливому и окаменевшему,  
Застывшему под тяжелым слоем пыли.  
Дворник смотрит на меня, как я прохожу,  
Он молчит,  
Как эти пустые дома,  
Как этот социализм,  
Который надо заселять живыми людьми».

Придет время и мы узнаем о подпольной литературе в Советском Союзе; рано или поздно она попадет на страницы журналов и книг

# Р а с с в е т

«На святой Руси петухи поют, скоро будет день на святой Руси». Это выражение вошло в русский фольклор и русскую литературу в далекие годы освобождения от татарского ига. После долгой, долгой исторической ночи поют петухи, предвещая наступление рассвета над родной землей.

Именно эта тема конца долгой ночи, тема рассвета проходит красной нитью через советскую поэзию 1956-57 г. Вот, например, стихотворение Бориса Пастернака. Оно так и называется — «Рассвет» (альманах «День Поэзии», Москва, 1956 г.):

**«Ты значил все в моей судьбе,  
Потом пришла война, разруха,  
И долго-долго о тебе  
Ни слуху не было, ни духа.**

**И через много-много лет  
Твой голос вновь меня встревожил,  
Всю ночь читал я твой завет  
И, как от обморока, ожил.**

**Мне к людям хочется, в толпу,  
В их утреннее оживление.  
Я все готов разнести в щепу  
И всех поставить на колени.**

. . . . .

**Я чувствую за них, за всех,  
Как будто побывал в их шкуре,  
Я таю сам, как тает снег,  
Я сам, как утро, брови хмрю.**

**Со мною люди без имен,  
Деревья, дети, домоседы.  
Я ими всеми побежден  
И только в том моя победа».**

Борис Пастернак, крупнейший русский поэт нашего времени, долгие годы жил в мире уединенной поэзии и переводов — «Маяковский застрелился, а я перевожу» — так однажды сказал Пастернак о себе. Теперь поэт пишет, что он ожил, как от обморока, что его вновь встревожил «голос» рассвета, поэту захотелось на люди, в их «утреннее ожи-

вление». Сегодня поэт «чувствует» за всех людей, он побежден тем, чем живут сегодня люди, — и в этом он видит свою победу.

Иначе к той же теме рассвета подходит другой поэт, Леонид Мартынов («Итоги дня» — альманах «День Поэзии», 1956 г.). Мартынов все еще видит вокруг себя ночь, но ночь позднюю, предрассветную:

«В час ночи  
все мы на день старше.  
Мрак поглощает дым и чад.  
С небес не вальсы и не марши,  
а лишь рапсодии звучат.

Но на Центральный склад утиля,  
на бесконечный задний двор  
везут ночами в изобилии  
отходы всякие и сор.

За возом воз, обоз громаден,  
и диво даже посмотреть  
на то, что за день, только за день  
отжить успело, устарело.

Везут, как тухлые поленья,  
как барахло, как ржавый лом,  
ошибочные представленья  
и кучи мнимых аксиом.

О Господи! Кому их жалко!  
Грядущий день давай пророчь,  
какую кривду примет свалка  
на завтра, в будущую ночь!

Какие тягостные грузы  
мы свалим в кладовые мглы,  
какие разорвутся узы  
и перерубятся узлы!

А все, что жить должно на свете,  
чему пропасть не надлежит, —  
само вернется на рассвете:  
не выдержит, не улежит!»

Леонид Мартынов видит перед рассветом, как везут на историческую свалку отжившие, «ошибочные представленья и кучи мнимых аксиом». Освобождаясь от этих «тягостных грузов», разрываются узы, перерубаются узлы — наступает рассвет: от ночи остается только жизнеспособное, то, «чему пропасть не надлежит».

Та же тема Рассвета ясно звучит и в поэме «Семь дней недели» Семена Кирсанова («Новый мир» № 9, 1956 г.). О своих предутренних мыслях и желаниях Кирсанов говорит так:

«И в такой-то муторной  
хмури на рассвете  
захотелось  
утренней

новизны на свете,  
захотелось врезаться  
в дело  
как ракета,  
захотелось дерзости  
мысли,  
звука,  
цвета ...

. . . . .  
захотелось  
замысла  
с преувеличением,  
чтобы все казалось нам  
первым  
увлечением,  
чтобы нас насытили  
верой и доверьем,  
чтоб не жить  
просителем  
за безмолвной дверью.  
Захотелось солнечной  
наконец-то встречи,  
радостной, до полночи,  
долгой-долгой речи,  
наконец —  
открытого  
разговора всюду,  
без шептания скрытого:  
«Не случиться б худу...»

Все свои надежды, что так оно и будет, что так должно быть, Семен Кирсанов связывает только со страной, только с народом:

«И ты,  
Страна,  
рассмотришь то и это  
сквозь лупу солнца  
за столом рассвета  
и скажешь так:  
— А вы идите дальше.  
Я правду сердца отличу от фальши.  
Я не позволю  
запирать желанье  
в глухом шкафу, как Золушку в чулане.  
Я не позволю  
замысел и мнение  
отказом приводить в окаменение.  
И подменять цветы на майском поле  
бумажными цветами  
не позволю!  
Я на земле, как оспу или рожу,  
мертвящее бездушье  
уничтожу!»

А вот как к той же теме Рассвета подходит молодой поэт —

Роберт Рождественский в стихотворении под названием «Утро» («Литературная Москва» № 1, 1956 г.):

«Есть граница между ночью и утром  
между тьмой и зыбким рассветом,  
между призрачной тишью  
и мудрым  
ветром...

. . . . .

Скоро!

Скоро!

Вы слышите?

Скоро!

Птицы грянут звонким обвалом,  
растворятся, сгинут туманы...  
Темнота заползает в подвалы,  
в подворотни,  
в пустые карманы.  
Наклоняется над часами,  
смотрит выцветшими глазами  
(ей уже не поможет это!), —  
и она говорит

голосами

тех, кто не переносит света.

Говорит спокойно вначале,  
а потом — клокоча от гнева:

«Люди! Что же это вы?

Ведь при мне вы

тоже

кое-что

различали...

Шли, с моей правдой не ссорясь,

хоть и медленно, да осторожно.

Я темней

становилась

нарочно,

чтобы вас не мучила совесть,

чтобы вы не видели грязи,

чтобы вы себя не корили...

Разве было плохо вам?

Разве

вы об этом тогда говорили?!»

Ночь, молчи! Все равно не перекричать

разрастающейся в полнеба зари.

Замолчи.

Будет утро тебе отвечать!

Будет утро с тобой говорить.

Ты себя оставь для своих льстецов,

а с такими советами к нам не лезь!

Человек погибает

в конце концов,

если он

скрывает

свою болезнь!

Мы хотим оглядеться и вспомнить теперь

тех, кто песен своих не донес до утра.

Говоришь, что грязь не видна при тебе?!  
Мы хотим ее видеть!  
Слышишь?  
Пора!

. . . . .  
Зазвенели будильники на столах,  
а за ними, нехотя, как всегда,  
коридор наполняется скрипом дверей,  
в трубах  
с клекотом гулким

проснулась вода...

С добрым утром!  
Ты спишь еще?  
Встань скорей!  
Ты сегодня веселое платье надень.  
Встань!  
Я птицам петь для тебя велю...  
Начинается день.  
Начинается день!  
Я люблю это время.  
Я  
жизнь  
люблю!»

Из таких стихов на тему конца долгой ночи, на тему рассвета можно было бы составить целый сборник, а эпиграфом поставить: «На святой Руси петухи поют, скоро будет день на святой Руси». Поэтическая тема рассвета говорит нам и о нашем времени и о наших поэтах. Поэты говорят с нами на языке образов и символов, и в речи этой виден отраженный свет надежд и чаяний народа.

Есть тема конца ночи, тема рассвета и в прозе. Так в романе В. Каверина «Поиски и надежды» («Литературная Москва» № 2, 1956 г.), написанном в виде записок бактериолога Татьяны Власенковой, которые обрываются «ранним утром первого января 1956-го года», говорится:

«И все это лишь промежуток, затянувшийся, как мучительная бесконечная ночь. Но ночь никогда не переходит в ночь. Ночь кончается, и наступает утро».

В других произведениях та же по-сути тема конца ночи, тема рассвета дана в образах конца зимы, оттепели, начала весны. Вот, например, стихотворение Маргариты Алигер «Зимняя ночь» («Литературная Москва» № 1, 1956 г.):

«Он глубоко и жадно дышит, как будто в жатву воду пьет.  
Он зимней ночью ясно слышит: весна идет, весна идет!  
Как там ни снежно и ни вьюжно, вот-вот сугробы стронет с места,  
вот-вот она возьмется дружно, весна двадцатого партсъезда».

Вместе с весенними голосами, вместе с предутренней песней поэтических петухов в советской поэзии 1956-го года слышится и трагическая песня, полная горестных сомнений: в ней и радость желанной и возможной весны и предчувствие того, что темные силы зимней ночи снова обманут — навалятся и задушат и весну, и утро, и самих пев-

цов. Так один из лучших советских поэтов Н. Заболоцкий, переживший в 30-ые годы арест, тюрьмы, обращается к певцу родной березовой стороны — скворцу:

**«И такой на полях кавардак,  
И такая ручьев околесица,  
Что попробуй, покинув чердак,  
Слома голову в рощу не броситься!**  
Начинай серенаду, скворец,  
Сквозь литавры и бубны истории.  
Ты — наш первый весенний певец  
Из березовой консерватории.

**Открывай представленья, свистун!  
Запрокинься головкою розовой,  
Разрывая сияние струн  
В самом горле у рощи березовой.**  
Я и сам бы стараться горазд,  
Да шепнула мне бабочка-странница:  
«Кто бывает весною горласт,  
Тот без голоса к лету останется».

Н. Заболоцкий и завидует «потерявшему сознание скворцу», и любит его безрассудное весеннее опьянение, и жалеет его за близкое «безгололье».

В другом стихотворении «Журавли», напечатанном в том же номере «Литературной Москвы» Н. Заболоцкий возвращается к своему предчувствию «обманной весны»:

**«Вылетев из Африки в апреле  
К берегам отеческой земли,  
Длинным треугольником летели,  
Утопая в небе, журавли.**

Но когда под крыльями блеснуло  
Озеро, прозрачное насквозь,  
Черное зияющее дуло  
Из кустов навстречу поднялось.  
Луч огня ударил в сердце птичье,  
Быстрый пламень вспыхнул и погас,  
И частица дивного величия  
С высоты обрушилась на нас.  
Два крыла, как два огромных горя,  
Обняли холодную волну.  
И, рыдая горестным вторя,  
Журавли рванулись в вышину».

Но Заболоцкий не считает бессмысленной гибель поверивших в наступление весны:

**«Гордый дух, высокое стремленье,  
Волю непреклонную к борьбе —  
То, что от былого поколения  
Переходит, молодость, к тебе».**

То, как закончились поэтические «предутренние» ожидания 1956-го года, пророчески предсказал молодой поэт Константин Ваншенкин («Литературная Москва» № 1):

**«Мы думали, что будет торжество,  
Но нас в то утро горько обманули.  
(А мы так много ждали от него.  
А мы такими гордыми уснули!..)»**

# Не хлебом единым

## 1

Когда писатель или поэт выбирает образ или сравнение для своего произведения, он, выбирает, естественно, то, что знакомо большинству читателей, что вызывает у читателей нужные для идеи произведения ассоциации.

Так именно и поступил писатель В. Дудинцев: в основу своего романа «Не хлебом единым» он положил техническое изобретение. В стране, где тридцать лет проводится всеобщая технизация, где десятки лет людей заставляют жить вопросами индустриализации, техники, производства — на работе, в школе, институте, в быту, театре, кино, газетах, книгах, — такой основной образ романа был выбран удачно.

Еще до 20-го партсъезда Булганин от имени «партии и правительства» объявил новую техническую политику. В своей речи о техническом прогрессе Булганин признал факт отставания производственной техники от западной. Хотя и не прямо, но пришлось ему признать, что причины отставания кроются в отсутствии творческой свободы, в подавлении личной инициативы специалистов. Булганин заявил, что конструкторам, исследователям, изобретателям надо предоставить больше свободы в их работе, право на свободные дискуссии, на творческий спор, на независимое мнение, право на более свободное общение с учеными и специалистами Запада, а также открыть более широкий доступ к иностранной техинформации и снять пресловутую засекреченность с отечественной технической и производственной информации.

После этой речи Булганина по стране прошли многочисленные научные и технические конференции и начались довольно откровенные дискуссии между учеными и специалистами. Приведем некоторые места из выступлений советских ученых на дискуссии в Москве в 1956 г. по поводу спора, возникшего вокруг статьи О. Писаржевского «Дружба наук и ее нарушения» в журнале «Наш современник».

Приведем те места из выступлений на этой дискуссии, которые имеют прямое отношение к роману «Не хлебом единым»:

Доктор сельскохозяйственных наук Ф. В. Турчин говорил:

«У нас часто принимается на веру все, что исходит от ученого, пользующегося высоким авторитетом. У всякого ученого могут быть ошибки».

Кандидат биологических наук профессор В. В. Сахаров говорил:

«Пора понять, наконец, что нет никаких «менделистов», «вайсманистов», «морганистов». Все это только клички, весьма удобные, потому что стоило вас назвать одной из них или всеми тремя сразу, как вы могли считать дело законченным и вас никто не стал бы защищать, не желая попасть с вами в ту же компанию».

Обращаясь к «руководителям» научной работы, профессор Сахаров говорил:

«Вы себя уверенно объявляете монополистами и, я убежден, без достаточного на то основания... Ваша беда, товарищи, в том, что вы сами создали себе не критикуемое положение. В результате вашего, совершенно безраздельного, господства в тяжелом положении, к сожалению, оказались не только вы, но и вся биологическая наука страны. Не может наука развиваться без противоречий, без критики».

Член-корреспондент Академии наук СССР И. П. Дубинин говорил:

«Есть еще люди, желающие продолжать линию монополизма в советской биологии».

Такие дискуссии происходили не только по вопросам биологии, а по многим научным, техническим и производственным вопросам. Именно в этом плане начал писать свой роман В. Дудинцев. Некоторые части его романа повторяют не только отдельные положения творческих дискуссий, но даже отдельные выражения, например:

«Монополия!.. Бьют всех инакомыслящих! А инакомыслящих уничтожить нельзя — они, как совесть, нужны... Они считают инакомыслящих врагами... Шлеп на спину, и пошел человек гулять с пятном!.. Если вы преследуете ту же высокую цель — спорьте! Спор принесет только пользу. Сравнение выбросит из жизни всех — больших и малых — иждивенцев».

Но научный прогресс только составная и неперемнная часть всего человеческого прогресса. Начав свой роман о техническом изобретении, талантливый писатель не мог не придти к общим проблемам, далеко выходящим за узкие пределы технического прогресса.

Когда по стране начались дискуссии и споры по научно-техническим вопросам, вскоре начались дискуссии и по самому близкому для Дудинцева вопросу литературного творчества. «Инженеры человеческих душ» заговорили о том, что литература тоже не может жить без творческой свободы, творческого спора, без независимого мнения писателя. И это сказалося на романе.

Мы не знаем, хотел ли В. Дудинцев в истории изобретателя Лопаткина показать общую картину советской действительности, скорее — нет, но художественный талант писателя взял свое, и советский читатель увидел в романе не историю изобретения труболитейной машины и ее изобретателя, а картину всей советской жизни. Значение романа и его успех лежат не в плоскости того, что хотел сказать писатель, а в том, что увидел и что видит в романе советский читатель.

Этим, собственно, и объясняется, что, пока роман не попал в гущу читательской массы, его хвалили и «Литературная газета», и присяжные партийные критики. В марте 1957-го года на Пленуме правления московского отделения Союза Советских писателей К. Симонов говорил:

«Литературная газета», поместив ряд положительных высказываний о романе, затем поместила статью с отрицательной оценкой романа».

Роман напечатан в «Новом мире» тремя частями: первая часть вышла в начале августа 1956-го года, вторая — в начале сентября, третья — в начале октября. Травля романа началась в декабре. В середине декабря в Киеве на конференции писателей секретарь партбюро Союза украинских писателей Ю. Збаницкий говорил о романе:

«Произведение, в котором не отражена правдиво советская действительность, в котором ощущается односторонний подход к ней».

Партийный активист Л. Дмитренко заявил:

«Если присмотреться к роману, мы увидим, что в нем розовый лак, применяемый прежде во многих произведениях, заменен дегтем».

Жена главного литературного глашатая партруководства на Украине Корнейчука — Ванда Василевская говорила:

«В романе Дудинцева есть лишь маленькая, крохотная частица правды...».

Такие конференции, направленные против романа Дудинцева, прошли по всем республиканским центрам. 15-го декабря центральный орган Союза писателей, «Литературная газета», писала:

«Нигилистическое отношение ко всему, что достигнуто..., проявляется в выступлениях людей, которые не прочь спекулировать на «текущем моменте»... Произведения, написанные в духе тягостного нигилизма, встречают шумное одобрение... В этом романе положительное начало утонуло в бесконечных страданиях одиночки изобретателя, который предстает неким мучеником».

Выступили против романа и «Правда» и «Известия». «Правда» называла роман «фальсификацией», «искажением советской действительности», правительственные «Известия» в большой статье старались уменьшить художественную ценность романа и обвиняли автора в «индивидуализме», «непонимании значения коллектива».

Во всей этой организованной травле романа и его автора чувствовался и разноречивое и желание во что бы то ни стало опорочить роман в глазах читателей. Особенно была заметна тенденция изобразить роман только как историю технического изобретения и всячески увести читателя от каких либо обобщений.

Весьма показательна в этом отношении статья одного из главных теперь партийных критиков Дм. Еремина. В декабрьской книжке 1956-го года журнала «Октябрь» Еремин писал о романе:

«Характерно, что первым читательским соображением, первой эмоцией при чтении романа оказались симпатии к творческим исканиям автора».

Но Еремин старается убедить читателя не верить своей «первой» реакции на роман. Затем пытается свести идею романа к одной «борьбе с бюрократами»:

«Неудивителен интерес к роману: роман полон искреннего, разделяемого читателями пафоса борьбы против мелких и крупных бюрократов, чинуш, прикрывающих свои подлые карьеристические дела...»

Еремин представляет роман, как литературную иллюстрацию к партийной политике:

«Ведь нельзя сказать, что в те самые годы, о которых рассказывает В. Дудинцев, в наших газетах и журналах не печатались всякого рода фельетоны, очерки и заметки на ту же тему — тему бюрократической косности и карьеризма в науке и технике... Автор выступает с защитой ленинских норм нашей советской социалистической демократии, гневно разоблачает носителей бюрократических извращений».

Отметим, что сейчас партийная критика вслед за Хрущевым говорит о романе совсем обратное — что роман Дудинцева — извращение этих самых «ленинских норм». Еремин в своей статье выдает с головой то, что больше всего испугало партийное начальство. Он приводит ряд цитат из романа, из которых советский читатель увидел не отдельных бюрократов, а всю партийную верхушку, и старается убедить читателя, что это не так. Так например, цитируя потрясшее читателей место, он тут же комментирует:

«Они устроили себе (Еремин следом в скобках объясняет: «из науки и служебных постов») нечто вроде этакого скифского городища, обнесли его стеной, разделили обязанности и живут по Мальтусу, ограничивая рождаемость (Еремин в скобках добавляет: «то-есть появление людей инакомыслящих, честных, инициативных»)».

Это место мы читали десяткам советским людям и спрашивали их: что это за «скифское городище», обнесенное стеной, и кто «они», живущие в этом «граде Китеже», которые «разделили между собой обязанности и живут по Мальтусу, ограничивая рождаемость»? Не было ни одного, кто не ответил бы: «Кремль и члены Президиума ЦК».

Выдает в своей статье Еремин и другое, а именно то, почему Хрущев с его партийными аппаратчиками решили, что роман может послужить на пользу группе Маленкова, на пользу идее «примата госорганов над партийными»:

«Такая «кривизна» сродни... идее «технократии», идеологи которой выдвигали в качестве основных и даже единственных носителей технического прогресса, цивилизации не народ, а техническую интеллигенцию... За технической интеллигенцией закрепляли волевое право руководить развитием общества».

Далее Еремин приоткрывает основную причину страха партийной власти перед романом:

«В своем критическом запале автор утверждает, что таковы же все звенья государственного аппарата... В сущности автор не отделяет «дроздовщину» от руководящих кругов нашего общества... Эта картина, столь определенно нарисованная Дудинцевым, легко объясняет «сенсационность», с которой воспринимается роман некоторыми читателями. **Учитывая обобщающую силу художественных образов, нетрудно себе представить, до каких абсурдных выводов может прийти иной молодой читатель.**» (подчеркнуто мной — В. Ж.).

Вот чем объясняется страх власти перед романом Дудинцева — выводами читателя! Но это страх перед критической частью романа. Позитивная часть романа вызывает страх у диктаторской власти тем, что в ней советский читатель, особенно молодой читатель, увидел для себя целую программу действия. Эта программа заключена в философии и действиях главного героя романа — «открывателя нового» — Лопаткина. Именно на Лопаткина направлены многочисленные атаки партийной критики: «индивидуалист», «нежизненный тип», «надуманный герой» и так далее, и все, чтобы очернить его в глазах читателя, чтобы сделать героя, наперекор роману, антинародным типом. Критик Еремин в пылу служебного рвения дописался до того, что объявил Лопаткина результатом культа личности!

«Толпа — и гений. Но разве не это именно было сущностью антинародного культа личности?» — восклицает Еремин, забывая, что понятие культа личности связано с диктаторской властью и что Лопаткин — представитель «униженных и оскорбленных» этой властью, действующей для народа, во имя народа, с помощью народа!

То, что широкие круги советских читателей увидели в романе программу действия для себя, косвенно признал К. Симонов в выступлении на Пленуме правления московского отделения Союза Советских писателей, которое он целиком посвятил нападкам на Дудинцева за то, что Дудинцев упорствовал в защите своего романа:

«Он встал, так сказать, над своим романом и... призвал рассматривать его не как книгу писателя Дудинцева, а как некий **программный документ эпохи.**»

Не знаю, так или не так думает о своем романе В. Дудинцев, но советский читатель принимает роман именно так. И партийная власть это знает, поэтому вот уже второй год ведет на роман ожесточенные атаки.

Все дело, конечно, в том, что увидел в романе советский читатель, — хотел этого или не хотел автор романа. Не случайно, когда

в Ленинградском университете Дудинцев стал говорить студентам-читателям, что они «неправильно понимают роман», читатели кричали ему — «Дроздов!» Когда-то Б. Пильняк так же доказывал читателям, что они неправильно поняли его «Повесть о непогашенной луне», что книга его ничего общего не имеет со смертью Фрунзе, но читатели до сих пор во всем мире считают, что в книге Пильняка описано, как Сталин приказал умертвить героя гражданской войны Фрунзе во время операции.

## 2

Прежде всего изобретение Лопаткина. Верит ли читатель в изобретение или принимает его за символ?

Что представляет собою изобретение? Сложный агрегат для массового производства чугуновых и стальных труб. Такое изобретение требует от изобретателя больших и глубоких знаний в металлургии и станкостроении. А кто изобретатель? Школьный учитель физики, ветеран Отечественной войны. Даже не специалист понимает всю неубедительность школьного учителя в роли изобретателя технически очень сложной машины. Автор романа мог бы вывести героем инженера, техника, но ему, видимо, важно иметь героем именно физика, именно учителя и солдата. Для того, что подразумевается под изобретением, нужны не технические знания, а таланты учителя, понимание современных физических основ мироздания и солдатский опыт Отечественной войны. Автор, понимая неубедительность Лопаткина в роли изобретателя, наделяет его стажем работы слесаря 7-го разряда. Автор сообщает, что 33-летний Лопаткин в 37-ом году работал на автозаводе, но простой арифметический подсчет показывает, что Лопаткину тогда было всего шестнадцать лет — возраст для слесаря такого высокого разряда слишком молодой. Далее: изобретенная Лопаткиным труболитейная машина дает возможность массового скоростного производства снарядных гильз, корпусов для мин и ракет, при этом высокой термической устойчивости. Это значит, что изобретение имеет большое военное значение. Кто из советских людей не знает, что такому изобретению в СССР обеспечено всеобщее внимание, внеочередная поддержка как со стороны партийных, так и со стороны правительственных инстанций. Никто в Советском Союзе не рискнет тормозить, а тем более мешать изобретению, имеющему такое большое военное значение, а в романе это как раз происходит. Эти логические неувязки очевидны для советского читателя и он не верит в изобретение и его историю, а видит в них только символы.

История «изобретения» в романе начинается так: учитель физики провинциальной школы в сибирском захолустье «повел свой класс на экскурсию в литейный цех и вдруг увидел производство канализационных труб... Производство было таким, как во времена Демидова: делают земляную форму и заливают в нее чугун из ручного ковша».

Советский читатель, привыкший к обобщениям через конкретный художественный образ, мог уловить в этой «земляной форме», в ко-

тору ручным способом заливают чугун, земледельческую Россию, в которой индустриализация насаждалась вручную.

Позже Лопаткин говорит, что его машина может выпускать и водопроводные трубы. Затем заявляет:

«Мне кажется, моя машина может быть универсальной».

А через несколько страниц Лопаткин говорит:

«Когда я загорелся этим, — он кивнул на чертежную доску, — в меня одновременно вошли мысли. Общего порядка. Вы верите в построение коммунизма?»

— и дальше — в связи с машиной — следует разговор об общественной несправедливости. Автор называет Лопаткина уже не изобретателем, а «открывателем», а его борьбу — стремлением **вручить** (подчеркнуто Дудинцевым) народу новое.

После возвращения из заключения Лопаткин говорит о своей машине так:

«Я вижу огромные возможности. То, что раньше мне казалось решением только частного вопроса, в действительности ключ ко многим **общим делам**» (подчеркнуто мной. — В. Ж.).

Роман кончается словами:

«Вы станете еще политиком!» — вспомнил он... И хоть машина Дмитрия Алексеевича была уже построена и **вручена**, он вдруг опять увидел перед собой уходящую вдаль дорогу, которой, наверно, не было конца. Она ждала его, стлалась перед ним, манила своими таинственными изгибами, своей суровой ответственностью».

Таким образом, для читателя изобретение в романе только «ключ к общим вопросам», символ общественных явлений. Не исключено, что и «канализационные» и «водопроводные» трубы восприняты некоторыми читателями, как символы «труб жизни»; канализационные — для очистки страны от накопившейся грязи, водопроводные — для питания страны свежей живой водой.

В романе все время подчеркивается, что «машина» Лопаткина «без желоба»: «Я заявляю, что отливать трубы без желоба не только можно, а нужно!» — говорит Лопаткин, а один из идеологов режима — Авдиев твердит: «Безжелобная заливка — фикция». Читатель может принять «желоб» как символ направленности, плановости общественных явлений, а «безжелобный» метод Лопаткина, как свободный путь развития.

Есть в романе и другое изобретение профессора Бусько — порошок для тушения пожаров. «Моя профессия — огонь!» — говорит профессор. Изобретение его гибнет во время пожара. Перед смертью «открыватель»-неудачник говорит: «Огонь опередил нас с вами, похитил секрет своей гибели». И то, что произошло это сразу же после ареста и осуждения единственного друга профессора, «открывателя» Лопаткина, не может читателя не навести на мысль о связи «огня» с террором; «порошок» профессора, который тот не успел «вру-

чить» народу, — символ борьбы с огнем-террором, пожирившим миллионы людей, а в первую очередь «открывателей нового».

Полно скрытого смысла для читателя поведение профессора Бусько в театре. «Он указывал на галерку: «Смотри, вон наверняка изобретатель!» Не в партере и на балконе, а на галерке советской жизни находятся «открыватели» нового!

Символичность романа заключена и в самом его названии — «Не хлебом единым». «Не хлебом единым жив человек» — сказал Христос сатане на его предложение превратить камень в хлеб. То, что советская власть боролась против народа голодом, нуждой — известно всякому. В Ленинградском университете в тридцатые годы студенты говорили так: кто-нибудь произносил вслух — именно как пишет Дудинцев в конце романа: «Не единым хлебом жив человек, если он настоящий», другой студент спрашивал: «Кто настоящий?» Следовал ответ: «Хлеб, ибо когда хлеб не настоящий, приходится и настоящему человеку жить одним хлебом». Ответ этот был как бы оправданием того, что голод и нужда заставляли людей быть покорными и жить для «хлеба». Похожие разговоры случались и среди заключенных в лагерях. Дудинцев как бы восстает против такой «философии».

Не менее символичны для читателя и герои романа. Лев Толстой говорил, что в искусстве можно выдумать все — и фабулу, и сюжет, и прочее, но нельзя выдумать только одного — психологию. В этом кроется главная причина упадка советской литературы — писатели вынуждены выдумывать «положительных» героев по шаблонам партийной выдумки. Герои же романа Дудинцева отличаются как раз невыдуманной психологией, даже Лопаткин — этот герой-программа.

Дудинцев, в отличие от большинства советских писателей, почти ничего не говорит о партийности героев и о партии вообще. Исключение — секретарь парторганизации комбината Самсонов — подхалим, анекдотчик, мелкий доносчик. Даже рядовой советский читатель знает, что на такие промышленные комбинаты, какой описывает Дудинцев, назначаются специальные парторги ЦК. Самсонов у Дудинцева — это пощечина ЦК. Автор говорит о партийности одного из положительных героев — инженера Галицкого, но уже по другой причине: иначе читатель не поверил бы, что Галицкий член партии. Это представитель старой русской интеллигенции (Галицкий!), который помогает беспартийному «открывателю».

Положительные герои — «открыватели», «идеалисты», носители нового и те люди из народа, кто помогает им, «униженные и оскорбленные» — все в романе беспартийные. К ним примыкают, кроме Галицкого, член партии майор военного трибунала Бадьин и два комсомольца — конструктор Костя и секретарша министра, которую Лопаткин называет «Русской зарей». Но майор Бадьин тоже из «униженных и оскорбленных»:

«Ведь этого человека... считали странным, а его начальник называл его один раз **аполитичным**. Это почти то же, что идеалист»,

— рассказывает о Бадьине Галицкий. Комсомольцы Костя и «Русская

заря» молодым чутьем чувствуют правду и будущее за «открывателем» Лопаткиным.

Отрицательные герои, судя по занимаемым ими высоким должностям, — все члены партии.

Как ни старалась казенная критика изобразить роман в плане борьбы с отдельными высокопоставленными партийными бюрократами, читатель видит в нем иное. Лопаткин «писал по своему вопросу в самые высокие адреса. Чудак!.. Они смотрели на него, как им казалось, с государственных позиций». В другом месте романа сказано: «Письмо было адресовано в несколько самых высоких инстанций». Читатель знает, что это за «самые высокие инстанции».

Для читателя нет сомнений, кого имеет в виду профессор Бусько, говоря Лопаткину:

«Беда в том, Дмитрий Алексеевич, что между нами («открывателями» — В. Ж.) и этим человеком (народом — В. Ж.) стоит посредник, существо с важной осанкой, считающий себя служителем науки, государства... или — хмурый начальник, готовый тысячу лет штамповать одну и ту же алюминиевую ложку. Конечно, с выполнением плана на сто два процента! Этот народец загородил нас от настоящего человека, который, между прочим, хотел бы иметь и ваши трубы, и мои огнетушители».

Кто в Советском Союзе посредник между народом и «открывателями» нового? Партия, как называет себя партруководство, — об этом пишет ежедневно вся советская печать.

«Хотел бы я хоть на час превратиться в кого-нибудь из них, посмотреть, что они думают, — говорит сам себе Лопаткин, — неужели видят, что я прав? Но тогда это — преступление! А если не видят — значит дураки? Как же они сидят там?» (подчеркнуто автором).

«Там — наверху власти — сидят преступники или дураки, уничтожающие живую мысль, рожденную в народе», изобретшие для своей защиты «**круговую поруку монополистов**» (подчеркнуто автором).

В романе нет ни слова о Сталине, и это, может быть, особенно говорит читателю о том, что причина всех бед не в отдельных личностях, а во всем «партруководстве» — во всей системе.

Основных героев в романе три: Дмитрий Алексеевич Лопаткин — «открыватель» нового, надежда «униженных и оскорбленных», Леонид Иванович Дроздов — самый сильный, самый ловкий представитель правящих «посредников-монополистов», а между ними — Надя. Основной конфликт романа — борьба нового с отжившим — разворачивается между Лопаткиным и Дроздовым.

Победу машины Лопаткина в романе читатель принимает, как символ первой, хотя и не решающей сражения победы нового над состарившимся режимом. Но судьба Нади для читателя — символ внутренней победы нового над старым: Надя — жена Дроздова — уходит к Лопаткину и становится его женой. Читатель видит в этом неизбеж-

ность гибели состарившейся системы, ибо для советского читателя образ Нади (Надежды!) символизирует Россию. Женский образ России существует столько же веков, сколько существует Россия. Россия — мать, «О Русь моя — жена моя» (А. Блок) — эти образы проходят через весь русский фольклор, через всю русскую литературу.

### 3

«Дмитрий Алексеевич Лопаткин принадлежал когда-то к числу людей физически здоровых, очень сильных и потому выделялся среди товарищей прежде всего добродушием. Он никогда не имел врагов, и на совести его не было темных пятен, кроме постоянного чувства вины перед матерью, которая еще до войны утасла в городе Муроме, так и не повидав перед смертью единственного сына. Войну он начал рядовым солдатом-пехотинцем, но вскоре стал командовать отделением, и в начале сорок второго года получил взвод... В армии он научился курить, разговаривать, не двигая при этом руками, терпеливо слушать, быстро принимать решения. И еще в нем выступило одно качество — думать сперва о солдатах, а потом уже о себе. Голодный Ленинградский фронт проявил эти качества во многих, а Дмитрий Алексеевич получил свое последнее ранение как раз там, около Ладожского озера. Привез с войны и орден — Красную Звезду».

Вот откуда начинается «открыватель» Лопаткин! — С войны на самом страшном, не столько для армии, сколько для народа, фронте — Ленинградском, на Ладожском озере, где проходила ледяная, единственная дорога из Ленинграда, на обочинах которой умирали и замерзали тысячи женщин, детей, стариков — тысячи опухших или превратившихся в скелеты жителей Ленинграда.

«Изобретение» Лопаткина народилось на свет Божий не в литейном цеху, куда Лопаткин пришел с экскурсией школьников, а на войне — самой страшной войне во всей истории нашего народа, и не столько муками и смертями на фронтах, сколько несправедливостью власти по отношению к человеку, по отношению к народу-герою, народу-победителю. На фронте Лопаткин научился «думать сперва о солдатах, а потом о себе». Несправедливость он испытал и на себе — после нескольких ранений привез самый незначительный из орденов — орден Красной Звезды (символично, что орден этот Лопаткин никогда не носит и не вспоминает о нем).

То что «изобретение» Лопаткина берет свое начало на войне, косвенно подтвердил сам В. Дудинцев в речи на писательском Пленуме в марте 1957-го года. Он рассказал, как у него созрел замысел романа:

«Я помню первые дни Отечественной войны. Лежу в окопе и надо мной идет воздушный бой. «Мессершмитты» сбивают наши самолеты, которых значительно больше. В ту минуту во мне началась какая-то ломка, потому что я до этой поры все время слышал, что наша авиация летает лучше всех и быстрее всех».

Лопаткин в начале романа — безработный учитель, непризнанный изобретатель. Своим изобретением он «заболел» сразу же после окончания войны (кто из советских читателей не пережил надежд на перемены после тяжело доставшейся победы?). Он носит все тот же военный костюм, полученный лет десять тому назад, — потертые брюки и в конец потрепанный китель. Как безработный, он не имеет ни денег, ни даже хлебных и продуктовых карточек. Живет в «землянке» многогосемейного рабочего. Он высок, худ, у него еще «сильные руки», но «усталые» волосы.

По делу его «изобретения» Лопаткина вызывали в Москву, но на том и кончилось. Вспоминая свое возвращение из Москвы, Лопаткин говорит: «И пошли они, солнцем палимые, повторяя: «Суди тебя Бог!». — Это некрасовское двухстишие сразу показывает читателю и характер неудач Лопаткина, и внутреннюю связь его «изобретения» с той «правдой», за которой ходили в столицу русские крепостные крестьяне-ходоки. «Но ждать и надеяться он не разучился, и эти-то непрерывные вспышки надежды сделали черты его лица жестокими и упорными, чертами страдальца»... Рассказывая о своих неудачах, «он словно наливался... железом — должно быть, думает о большой тяжелой дороге, по которой ему еще долго придется идти».

Была у Лопаткина возлюбленная — Жанна, но, устав от неудач любимого, она уехала в Москву. В минуты слабости Лопаткин думает:

«Вернуться в школу, куда-нибудь в уютный уголок, стать нормальным человеком... И Жанна приедет — тишина ее вполне устроит».

Но тут же говорит:

«Для того, чтобы просто жить, нужен хлеб. Но как бы я ни был голоден, я всегда променял бы свой хлеб на искру веры!»

Несмотря на голод, нужду, несмотря на многолетние неудачи, Лопаткин не ожесточился. Автор наделяет героя чертами «униженных и оскорбленных» Достоевского. Враг № 1 — Дроздов — кидает Лопаткину подачку: в присутствии парторга ЦК Самсонова Дроздов звонит по телефону начальнику отдела снабжения Фабричковскому:

«Тут к тебе придет изобретатель. Лопаткин. Так ты мне его одень. Да. От меня... Одень мне его. Одень... Как у тебя, такой костюм сделай. Или свой отдай... пузо, хе-хе, ушей и отдай».

Но Лопаткин, несмотря на свою единственную «пару» — фронтовые штаны и китель, с которых он время от времени срезает ножницами бахрому, к Фабричковскому за костюмом не пошел. «Изобретатель-то... благороден!» — говорит на это Дроздов Самсонову.

Надя рассказывает мужу о Лопаткине:

«Ты знаешь, ведь я с ним целый год не здоровалась! Один раз мы сошлись на узкой дорожке, и я голову в сторону отвернула! И он понял, пожалел меня! Он тоже сделал вид, что не заметил меня или не узнал»

Надя публично, не желая этого, оскорбила Лопаткина.

«Ей было трудно ходить, она со страхом готовилась к материнству, и Дмитрий Алексеевич сразу же простил ей все».

Лопаткина снова вызывают в Москву. На этот раз там его обманывают. В Москве он встречается инженера Кирилла Мефодьевича (для читателя это имя-отчество тоже полно смысла — Кирилл и Мефодий!) Араховского, «открывателя» в молодости, которому «вежливо сломали хребет». Араховский отошел в сторонку от жизни и советует Лопаткину:

«Унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыни, в пещеры... Я уже гашу мысли, нашел способ: изобретаю для спиннинга блесну, не задевающую за коряги... Надежда моя погасла. Увидел вас — опять надеюсь, Дмитрий Алексеевич». — «Кирилл Мефодьевич! Давайте с вами выпьем за зажженные светы!» — говорит Лопаткин. — «Это как понимать?» — спрашивает Араховский. — «А так, за то, что их нельзя ни унести в пустыни и пещеры, ни погасить. За то, что они живучие. Чтoб продолжали гореть. Людям на радость...» — «А кому-то и на муку! Бог с тобой, давай выпьем».

Потом Лопаткин встречается в Москве тоже безработного, тоже затравленного власть имущими профессора Евгения Устиновича Бусько. Профессор не сдался, как Араховский, продолжает «открывать», но без всякой надежды на успех —

«чем старше, тем меньше разочарований. Потому отвыкаешь от надежд. Надежды, они больше юношей питают»

— говорит Бусько и подводит итог своей жизни: «У меня главным образом неудачи». Но Лопаткин заставляет профессора поверить в него; профессор обретает новый смысл жизни — «поднимал дух (подчеркнуто автором) товарища», да и сам стал надеяться.

Жили они вместе, в одной бедной комнате. Питались картошкой, «иногда с кислым огурцом». Часто было и так, что на обед доставалась одна картофелина. Когда не было денег — продавали собранные профессором бутылки. Ходили на «калтуры»: разгружали вагоны с овощами, камнями, арбузами, иногда воровали капусту. Лопаткина поддерживал крепкий сон и ежедневные восьмикилометровые прогулки.

«Он пристально следил за стариком, учитывая опыт Евгения Устиновича... Он понял, что нужно бороться прежде всего против усталости, против измены в самом себе...»

— Я могу сейчас поступить на завод, — говорит Лопаткин, — заработать две тысячи и купить гору сала. В ладонь толщиной. Или записаться в очередь на покупку автомашины. Буду деньги откладывать на сберкнижку... Я не хочу такого счастья, как в кино (в советском кино! — В. Ж.): еда, еда, квартира, спальня... То есть я, конечно, не отказываюсь. Но, имея одно это, я не буду счастлив. А если доведу дело до конца, а спальни у меня не будет, — я все равно буду счастлив.

— Какой же это коммунизм, — отвечает Бусько, — если вы должны бросить дорогое сердцу дело, чтобы зарабатывать на хлеб?

— А я и не говорю, что у нас коммунизм, — отвечает Лопаткин».

Читатель, возможно, от себя добавляет: и социализма тоже нет никакого.

Бусько прячется от людей, копит свои «открытия» для себя. А Лопаткин говорит:

«Нет! Не прятаться и не маскироваться! Мы должны быть открыто самими собой, только так мы сможем находить друг друга. Вот мы с вами почему сошлись? Потому что увидели друг друга такими, какие мы есть». — «А что толку? — закричал вдруг старик.

— Ну, сошлись мы с вами! Ну набьется нас здесь в комнате двадцать дурачков с ласковыми глазами!.. Чем вы мне поможете? Чем я вам помогу?»

«Закусив губу, Лопаткин смотрел некоторое время на Бусько.

— Смотрите, смотрите... Это перед вами ваше будущее. А я буду смотреть на вас... Потому что вижу свое глу-у-пенькое прошлое».

Но Лопаткин не сдаётся:

«Маскируясь от врагов, маскируешься и от друзей! Открыто надо в бой итти, только открыто! И с развернутым знаменем, на котором отчетливо написан девиз. Крупными буквами».

Лопаткин понимает: чтобы не стать Бусько, «надо жить... Да, нужна разрядка... Нужно иногда... смешиваться с людьми. Жить жизнью обыкновенного человека». Бусько говорит: «Настоящие открыватели... не имеют семьи», а Лопаткин мечтает о Жанне. Он ходит на галерку в консерваторию —

«и там под потолком сидел в полном одиночестве, и в нем оживали чувства давно умерших великих борцов и страдальцев... Он слушал самые искренние, самые горячие слова, обращенные прямо к нему».

Большое искусство зовет Лопаткина к подвигу, к высокому страданию во имя служения великому. Шопен ничего не говорит сломанному Бусько, а Лопаткину:

«Сперва он негромко обратился к Дмитрию Алексеевичу, и тот, вздрогнув, почувствовал, что это говорят ему. Они сразу поняли друг друга, и тогда в полный голос зазвучала повесть, которая была и повестью Дмитрия Алексеевича. Он увидел героя... Когда концерт окончился, Дмитрий Алексеевич вышел на улицу, сжимая в карманах кулаки... Через несколько дней он опять купил билет в консерваторию. И на этот раз Рахманинов в своем Втором концерте сказал ему то же. Он сказал это с первых слов, с первых аккордов: человек рожден не для того, чтобы во имя жирной еды и благополучия терпеть унижения, лгать и предавать... Для такой радости не стоит и родиться человеком, гораздо удобнее быть червем. Человек должен быть кометой и ярко, радостно светить, не боясь того, что сгорает драгоценный живой материал».

После консерватории Лопаткин,

«сидя у чертежной доски, гудел себе под нос, повторяя то, что сказал ему Шопен и что подтвердил в своем концерте Рахманинов».

Лопаткин встречает все еще любимую им девушку:

«Ты все еще Мартин Иден?» — спрашивает она. — «Послушай, Дим... Давай поедим учителями куда-нибудь? — она быстро, жалобно взглянула на него и отвернулась». — «Жаннок, — сказал Дмитрий Алексеевич, — у меня в руках очень большое дело, и я не могу бросить его. Дело это верное. Я уже почти переплыл Ла-Манш и вижу берег...» — «Димка, ты меня предаешь! — сказала она, уже по-настоящему рыдая. — Зачем ты ухо-о-о... — она горько и тихо застонала, ударяя его головой в грудь. — Зачем? Ведь я же тебя люблю!»

Но Лопаткин и через это перешел, а это куда труднее картошки, заштопанного кителя и непризнания.

Потом в его жизнь входит помощницей Надя. Приходит и ощутимый успех — его проектом заинтересовалось Министерство обороны. Но тут же разражается — арест, суд и осуждение на восемь лет. Как же Лопаткин принимает этот очередной удар со стороны «жителей Китежа»?

«В жизни человека, — говорит он, — бывает и такая глава, ее надо терпеливо прочитать».

В сибирском лагере он работает электросварщиком:

«Сидишь себе высоко-высоко на ферме моста, вверху — небо, внизу — река, пороги. Электричества нет... слезать вниз нет смысла. Вот и думаешь, пока внизу чинят. Два часа! А вечером сядешь около барака...»

Лопаткин и в заключении не отказался от своего «изобретения» и привез из лагеря «кое-какие мысли».

«Как видите, — говорит он Наде, — ...кто научился думать — того полностью лишить свободы нельзя».

Там, в лагерях, Лопаткин прошел через другие страдания и увидел людей, до конца «униженных и оскорбленных» властью, и до конца понял то, что вынес из войны. Автор пишет о нем после заключения:

«На месте его сидел каменно-твердый исполнитель долга, глядящий сквозь пальцы и на смерть и на жизнь».

Лопаткин сроднился с лагерниками — этими советскими пролетариями — вернулся с «корявыми, мозолистыми руками», с «могучим запахом рабочего — запахом трудового пота и махорки».

«Вы были в далеком путешествии?» — спрашивает Лопаткина сынишка Нади. — «В очень далеком...» — «Я вырасту большой и тоже поеду в далекое путешествие» — говорит мальчик. — «Путешествий бояться не надо! Кто боится путешествий, тот... и не уедет далеко!».

«Да, это был человек, в котором чуткая готовность к бою стала привычкой»,

— пишет Дудинцев о новом Лопаткине. Вернулся боец, додумавший

до конца свой «частный вопрос», так, что стал он ключем «ко многим большим делам». Так о Зека в советской литературе никто еще не писал!

«Дайте посмотреть, какой вы теперь... — говорит вернувшийся из лагеря Лопаткину Галицкий. — Да, обожгли вас хорошо. Огня не пожалели, кирпич получился славный...».

После победы «машины» Лопаткина Галицкий ему говорит:

«Вы с самого начала, Дмитрий Алексеевич, взяли правильный курс. Я говорю, что вы — настоящий человек. Вы верите и боретесь. Не ожесточились... как старик этот — Бусько... Это вот и отобрало для вас нужных помощников. Их не так уж много, но они, видите, помогли вам. Вы понимаете меня? — Галицкий круто повернулся к Дмитрию Алексеевичу. — Меня часто ругают идеалистом... (теперь «либералом» и «ревизионистом»! — В. Ж.). Тут идеалист, там идеалист, в третьем месте — смотришь — еще один так называемый идеалист. Они попадают на каждом шагу, но без яркого опознавательного знака, ни вы их не увидите, ни они вас. А зажжет Дмитрий Алексеевич откровенный фонарь — и все они слетелись ему помогать».

Лондонский «Таймс» не ошибся, когда писал, что в Лопаткине Дудинцев создал «нового, национального героя». Именно так — Лопаткин революционер, открыто идущий против устаревшего режима. В конце романа Лопаткин, обращаясь к «Президиуму» — ко все еще стоящим у власти руководителям, говорит им на их признание «ошибок»:

«Вы срамите себя беспощадно и не чувствуете!.. (Читатель сравнивает с разоблачением культа личности Сталина) Мы будем с вами бороться... как велит БУП — Боевой Устав Пехоты... Там сказано, что мы намерены с вами делать. Я там обозначен словом «одиночный боец». А теперь мы — «отделение в бою».

Чтобы не оставалось сомнений о целях Лопаткина, автор в конце романа пишет о нем:

«Плечо его стало мощнее, но и груза прибавилось. Это был груз новых забот — **забот о людях**».

Кто же враг № 1 Лопаткина? Леонид Иванович Дроздов. Маленький энергичный человек. Автор все время подчеркивает малый рост Дроздова, тем самым вызывая у читателя ассоциацию с членами недавнего Президиума ЦК — они все очень маленького роста. По характеру, ловкости и удачливости Дроздов напоминает читателю Хрущева. Вначале он директор крупного комбината тяжелой промышленности в Сибири. Он полный хозяин местного края. О людях и о себе Дроздов говорит так:

«Человек, который стоит предо мной, — это хороший или плохой строитель коммунизма, работник. Я имею право так думать о нем, потому что и о себе я иначе не могу думать. Я живу только как

работник: дома, на службе — я везде только работник. Мне звонят ночью, когда я спящий человек. И напоминают, что я работник! Мы бежим наперегонки с капиталистическим миром. Сперва надо построить дом, а потом уже вешать картиночки... Я принадлежу к числу производителей материальных ценностей. Главная духовная ценность в наше время — умение хорошо работать, создавать как можно больше нужных вещей. Мы работаем на базис... У того, кто работает на материальный базис, крайностей не может быть. Потому что материя первична. Чем лучше я его укреплю, базис, тем прочнее наше государство. Это тебе, родная, не Тургенев»,

— говорит Дроздов жене.

За этой «философией» кроется полное отсутствие уважения к людям, к человеческой личности. Правда, Дроздов позволяет себе иногда развлечься: приказывает выдать Лопаткину костюм, посылает для отопления землянки, где живет Лопаткин, топливо. На вопрос подчиненного — из каких ресурсов выдать уголь и дрова, Дроздов кричит тому: «На то ты и топливный бог. Спишешь». Дроздов «благодетельствует» за счет государства, но отвечать за это не хочет.

Он не силен в грамоте, но ловко жонглирует идеологическими формулировками.

«Однажды прислал записку, и записка эта начиналась словом «обеспеч»... Позднее Надя осторожно сказала мужу об этом..., но он веско ответил: «Грамота — это грамота... и ничего больше». Но «ночью, придя с работы, он иногда брал с собой в постель «Краткий курс истории партии» и... читал вслух четвертую, философскую главу».

За столом Дроздов чавкал, но «ловко умел сказать к месту: «базис», «государственный долг», «коллектив» (совсем как советские критики романа Дудинцева!) и тому подобные слова, прикрывая ими любую свою слабость». Стоя перед зеркалом, Дроздов говорит о себе:

«Я вижу в этом человеке очень много недостатков... Пережитков прошлого. Это человек переходного периода. Есть в нем остаточек того, что раньше называлось «честолюбие»... Я хочу работать..., чтобы люди о моей работе были хорошего мнения. Всегда с перевыполнением — это мое больное место. Еще радуюсь повышению и заслуженным наградам... И в Москву еду с радостью. И знаю, что я там буду на месте. И еще много во мне есть слабых мест — потому, что жизнь люблю!.. Поэтому мне нужен панцырь... Этот панцырь — твердая воля, которая в человеке есть положительное качество. Она его обуздает. И я держу себя в руках... В коммунизм мне, конечно, хода нет... Но как строитель коммунизма я приемлем, я — на высоте».

Надя говорит Дроздову о Лопаткине:

«Ты... человека убиваешь живого! ... Он и не подозревает, а ты накинул петлю и давишь! Ты смотри, какой он живой, как он не сдается. А ты все давишь, давишь...»

Дроздов отвечает:

«Ну во-от, задави такого!.. Мы, если хочешь, в интересах государства были обязаны вмешаться».

Дроздов — карьерист. Он прекрасно разбирается в сложных взаимоотношениях «града Китежа». Дроздов понимает, что Лопаткин носитель нового, современного, а он сам — пленник созданной им и такими, как он, системы. Чтобы остаться у власти, надо беречь систему, надо душить «открывателей». Наедине с женой Дроздов зло высмеивает своего коллегу по «коллективному руководству»:

«Шутиков завтра в газете выступает. Подвал о новаторстве. Писал, конечно, не он — Невраев и газетчики. А нашему Павлу Ивановичу дали оттиск. Он подписал — слышишь? — потом прочитал и говорит: «Вот здесь у меня шероховато. Исправьте!» «У меня!»

Но сам Дроздов поступает почти так же, как Шутиков:

«Леонид Иванович смотрел на все это спокойно, только, может быть, чуть-чуть пристальнее... Посадив за отчет столько людей, он по крайней мере хоть составил бы для них тезисы. Высказал бы свое отношение... отметил бы слабые и сильные стороны зарубежной техники... Кое-что он и сам написал бы. А **этот**... Подобрал он, конечно, толковых людей. Люди были с головой... Пиши, показывай свою эрудицию, а я подпишу!»

Вот таким «толковым» исполнителем должен был быть, по мнению Дроздова, и Лопаткин — исполнителем, а не «открывателем».

Дроздов на все вопросы жизни имеет готовые ответы. Даже под одиночество свое он подводит «базис». Надя спрашивает его:

«Почему у тебя нет друзей? Настоящих друзей?»

Дроздов отвечает:

«Настоящих? Вот чего захотела... Друзей у нас быть не может. Друг должен быть независим, а они здесь все от меня как-нибудь да зависят. Один завидует, другой боится, третий держит ухо востро, четвертый ищет пользы. Изоляция, милая. Чистейшая изоляция! И чем выше мы с тобой пойдем в гору, тем полнее эта изоляция будет».

Уже в Москве Надя (Россия) говорит Дроздову (партруководству): «Я тебя не люблю», а он отвечает: «Обязана любить». Иногда Дроздов чувствует, что он принадлежит к уходящему, состарившемуся классу:

«Он вдруг пережил бессильную тоску, почувствовал себя ненужным стариком, понял, что самые бесспорные, беспощадные симптомы старости — это те, которых ты сам не можешь увидеть...»

Спасение от нового, от упорно идущего к своей цели Лопаткина Дроздов увидел в аресте Лопаткина и он помогает аресту:

«К нему вернулось хорошее настроение. Леонид Иванович понял, что с арестом Лопаткина будут, наконец, решены все самые тревож-

ные вопросы его служебной и личной жизни. Все наладится, и Надя останется за ним...

Не в этом ли смысл советского террора?

После ликвидации своего идейного противника, Дроздов обрел обычную для него уверенность и ловкость.

«Он пугал Шутикова. Сам-то он ничего не боялся. Ни один удар, даже специально направленный в Дроздова, еще не попадал в него. Он всегда умел стать так, чтобы его не задело».

(Совсем как Хрущев! — думает читатель).

Когда пришлось признавать «ошибки» в деле «машины» Лопаткина, Дроздов валит все на Шутикова:

«Недооценил я товарища Лопаткина. Все из-за этого политика (так Леонид Иванович называл Шутикова)... Сук давно перегнил, а ты все на нем сидишь... Не-ет, рано или поздно все равно загремишь!...»

(Не так ли говорит теперь Хрущев о вычищенных соратниках?). Выступая с речью, Дроздов оправдывается:

«Лопаткин был арестован — здесь, правда, я не все знаю: суд был закрытый».

(То же самое говорил Хрущев на 20-м партсъезде о сталинском терроре).

Мысль, что Лопаткин на свободе, что он и Надя встречаются, — мучает Дроздова:

«Его охватила тоска, которую он не мог никому высказать. Неужели он за всю жизнь не видел настоящего чувства, такого, как у них! (ВД) Он стал вспоминать. Да... так это и прошло мимо него. А было рядом несколько раз! Судя по ней, (ВД) это что-то необыкновенное».

Если условно принять, что Надя — образ России, то можно понять эту тоску партийных вождей. Смерть Сталина дала им возможность «настоящего чувства». Возможности были и раньше. «Да... так это и прошло мимо»: пропускали и пропускают возможности, ибо они сами порождение и рабы состарившегося режима.

Кто же Надя? Высокая русская красавица. В сравнении с Дроздовым-мужем: «ростом он ей был до плеча». Она долго оправдывала Дроздова:

«Он не плохой... Он очень много работает. Просто забыл человек себя. Он совсем забыл о себе, думает только о работе. Вот и все!.. Ночами не спит, занят на работе, не жалеет себя, как всякий творческий человек, не спит, устал, за всем ему не усмотреть».

Только в больнице, страдая, Надя начинает очищаться от Дроздова:

«Почему это я вдруг заговорила какими-то чужими словами. Чьи

это слова?.. Хоть себе лгать не надо! Все, что я говорила, все это было постоянной точкой зрения Леонида».

В больнице она первый раз почувствовала себя виноватой перед Лопаткиным. Она пробовала спорить с Дроздовым, но «и на этот раз муж как будто разъяснил Наде все». Но сомнения вернулись: «Леонид Иванович, легко отвечая на тревожные вопросы Нади, все же не успокоил ее». Там же в больнице в первый раз к Наде пришло сознание своей большой вины перед людьми. Для нее — жены Дроздова — срочно освободили комнату: вынесли других больных — работниц и жен рабочих — в коридор. Надя, превозмогая боль, вышла в коридор и заявила перепуганному главврачу: «Я никуда не пойду... Пока не переведете всех на место...» Когда вносили в комнату больных, Надя лежала с закрытыми глазами и слушала разговор сестер:

«Лидка, подвинь-ка первую кровать... Эти жены начальства хуже начальников. А теперь эту бери... Никогда не угадаешь, чего им...» Надя широко открыла глаза. И сестра, перехватив ее взгляд, сразу же улыбнулась, наклонилась к ней: «Ну, что, милочка? Как себя чувствуете?»

Так пришло к Наде сознание своей вины и перед «открывателем» Лопаткиным, и перед народом, и перед больными, и даже перед медсестрой — за то, что сделало сестру двуличной. Позже, в деревне:

«Надя видела на крыльце правления колхозников загорелых, с белыми пятнами соли на пыльных гимнастерках (фронтowych — В. Ж.) ... Они молча курили, плевали на землю... Надя понимала, что у них начинается беда, и не могла ничем помочь... И уходила в избу, чтобы никто не видел ее веселого зонтика и книги».

Сердце Нади отвернулось от Дроздова. Она уже иначе спорит с ним:

«Мне кажется, что я тебя всегда побеждаю в споре чувств. Хоть ты и доказываешь мне логически, что ты прав. Иногда доказываешь...»

От сознания вины, пришедшего в минуту страдания, Надя сначала стала жалеть Лопаткина, а потом полюбила. В Москве она продает подаренное ей Дроздовым меховое манто за шесть тысяч рублей и тайком (чтобы Лопаткин не догадался!) передает их профессору Бусько. Потом начинает работать с ними — ведет переписку Лопаткина, готовит обед, убирает комнату, моет пол, посуду, белье.

«Я болею за вас... Дмитрий Алексеевич... — говорит она Лопаткину. — Я вас никогда не предаю. Даю вам честное слово... Клянусь сыном».

В дни неудач она утешает его:

«Вы только не расстраивайтесь. Подождите расстраиваться. Я вам обязательно помогу!».

Надя «отчетливо видела, что ошиблась, выйдя замуж за своего сибирского героя» — Дроздов стал ей нестерпимо противен: она видела, что он и ему подобные — причина бед и Лопаткина, и Бусько, и всех людей. Приходя к Лопаткину,

«Надя смотрела на его бледное лицо, читая все его мысли, понимая все. В ней что-то происходило — в ответ на его молчание... Она словно вырастала в матери этому громадному человеку».

После победы «машины» Лопаткина Надя становится его женой.

«Оба мы ... сломленные, как говорит Дроздов. Сломал он нас с тобой. Куда же мы денемся друг от друга?» — «Слома-ал? Ну, нет. Он только нас высоко настроил, как две струны. Он свел нас, показал друг другу».

(Для читателя эти слова Лопаткина полны значения: до большевиков интеллигенция не знала России — теперь, пройдя муки под диктаторской властью, ошибок она не сделает!). Затем Надя произносит фразу:

«Милый Дмитрий Алексеевич! А мне (ВД) можно будет любить тебя?» — ... и быстро прижалась губами к его рукаву».

Это было то, о чем еще до заключения думал Лопаткин. Правда, он думал о Жанне, несправедливой к нему, не пожелавшей делить с ним неудачи, ушедшей к обеспеченному «капитану»:

«Она, может, подбежит, восхищенная его живучестью, энергией и упорством... И, может быть, как раз ей захочется, как писали в старых романах, **поцеловать эти терпеливые руки** (подчеркнуто автором), державшие и молоток, и учительский мел, и логарифмическую линейку, и вот опять взявшие молоток!»

Но Жанна — не Россия (это читатель видит даже в ее нерусском имени). Россия — Надя, которую соблазнил мнимой силой большевик Дроздов. Дроздов оказался не «сибирским героем», а полуграмотным рабом созданной им же нежизненной системы. И хотя у Дроздова власть, «вещи», Надя уходит к Лопаткину — смелому «открывателю» нового, пока еще бедному, униженному и оскорбленному, но богатому правдой и будущим.

В этом для читателя главный символ романа.

#### 4

Апостола Петра «открывателя» Лопаткина читатель видит в потомственном рабочем Петре Сьянове:

«пожилой, худощавый и лысеющий мужчина в белой ночной рубашке, на фоне которой ... темнели его огромные рабочие руки».

У Сьянова большая семья — больная жена, дочь-школьница и пятеро малышей. Живут Сьяновы в домике-«землянке». Петр Сьянов «заболел» «изобретением» Лопаткина и взял гонимого «открывателя» к себе. Они вместе курят сьяновский «самосад», вместе и кормятся, чем Бог послал:

«на столике стояла глиняная миска с очищенной, очень горячей картошкой. На газете — горстка серой соли... Картошка была белая и рассыпчатая, какой может быть только **своя** (подчеркнуто автором) картошка».

Читатель не может не понять, что **свое** в жизни лучше — все: и картошка, и табак, и мысли.

Вот как понимает Сьянов «изобретение» Лопаткина:

«Здесь и изобретение и вроде как нет его. Но вещь полезная и имеющая перспективу. Это касательно **будущего** (подчеркнуто мной — В. Ж.)».

Он помогает Лопаткину, делает для него «модельки», ворует для этого материалы на дроздовском комбинате.

«Живем, — говорит Петр Сьянов, — и даже надеемся, что наша возьмет. Правда, никто нам не верит... Люди программой заняты».

Лопаткин о Сьянове говорит: «Одному все сделать трудно... Помогает мне дядя Петр». Сьянов деликатен, отзывчив, людей любит и жалеет, даже осуждая Дроздова, он говорит об этом спокойно, словно понимает, что не в одном Дроздове беда.

Жена Сьянова — Агафья Тимофеевна — измученная болезнью и тяжелой работой по хозяйству женщина. Она для читателя символ миллионов простых советских женщин. Свое отношение к Лопаткину и ко всему, что мешает его делу, она высказывает так:

«Надо голову иметь на плечах, чтобы понимала, и сердце хоть какое в грудях, тогда и верить можно! — Это ты не про нас, Агафья Тимофеевна? — спрашивает жену Сьянов. — Сам знаешь, про кого! Сидите уж, Аники. Слово боитесь проронить. А я вот вам скажу напрямки... Каждый обязан помогать, как может. Ежели он сознательный. Как Петр вот помогает».

Еще помогает Лопаткину учительница Валентина Павловна. Она поверила в «изобретение», а потом тайно полюбила «изобретателя»:

«Она верила в то, что «лопаткинская» машина... — не простая выдумка. Верила в то, что машина эта победит».

У Лопаткина не было «ватманской» бумаги и туши, Валентина Павловна где-то их доставала и приносила Лопаткину. Читатель знает, что купить «ватман» и тушь в Советском Союзе, даже в больших городах, трудно, значит — Валентина Павловна или воровала их, или покупала краденые. А была она женщина застенчивая, ласковая: «Скажет слово — и зардеется. Замолчит — и еще больше покраснеет».

Она поддерживает Лопаткина не только тушью и бумагой для чертежей: Лопаткин «радовался каждому ее приходу», она «как бы связывала его с окружающей жизнью», он «старался не замечать ее неловких движений, слов, сказанных невпопад, и краски, то и дело заливавшей ее лицо». Она знала, что Лопаткин любит другую. Когда он получил письмо от Жанны

«Валентина Павловна сразу поняла... и стала прощаться, что-то сказала, жалко хихикнула, словно в пустой комнате, и быстро ушла, даже не застегнув пальто».

Позже, в Москве, в минуты усталости от неудач Лопаткин думает: «Ах, Сьянов, Сьянов! Валентина Павловна! Вот кого мне не хватает...»

Но и в Москве, в период голодной жизни со стариком Бусько, Лопаткина поддерживают простые люди.

«В один из пасмурных дней октября старик заглянул в старую сумку от противогаза, которая висела у него на гвозде в коридоре, и нашел в ней штук десять картофелин».

Бусько думает, что «когда-то он забыл по рассеянности о них», но на другой день он находит в сумке «штук двадцать крупных картофелин». Сумка была полна доверху. Кто-то из соседей тайком деликатно помогал голодавшим «открывателям». Но «открыватели» тоже деликатны:

«Что делать с сумкой? Известный добрый человек может подумать, что нам понравилось и мы опять вывесили ловушку — авось что-нибудь попадется. А?» — говорит Бусько. — «Картошку разделим на три дня, а сумку больше вешать не будем», — решает Лопаткин. «Уже который раз он испытывал чувство неоплатного долга перед обыкновенным, неизвестным человеком, который вдруг открывал перед ним свою простую, широкую душу». И Лопаткина и даже Бусько «это событие заставило по-новому взглянуть на соседей. Попрежнему маленькая крашенная Завиша приходила к ним в своем халатике, стараясь подольше задержаться, пока изобретатели разрывают конверт (ответы «высших инстанций» — В. Ж.). Но Дмитрий Алексеевич видел теперь в ее глазах, кроме любопытства, еще и грусть одинокой молодой женщины, одинокой, несмотря на то, что рядом есть муж (снабженец — В. Ж.) с томным взглядом и умеренными бакенбардами. Приходил сам Тьямьанский, и Дмитрий Алексеевич думал: неужели он мог сделать это? А впрочем, чем черт не шутит! Брови можно брить и по простоте, потому что это делают другие, и в то же время оставаться хорошим человеком... Вот так они по-новому смотрели на каждого жильца, не зная, кому хоть взглядом сказать свое спасибо. А жильцов было много в этой квартире — что ни человек, то загадка, у каждого свой собственный звонок на двери».

После этого в романе появляется знаменательное обобщение о простом человеке: «Этот человек не ученый, а все поймет!.. Беда в том, что между нами («открывателями» — В. Ж.) и этим человеком стоит посредник».

Дудинцев выводит в романе еще одного простого человека — старого рабочего — истопника Афончева. Когда жгли бумаги арестован-

ного Лопаткина — архив «изобретения», старый истопник говорит: «Книги зачем жгете? Лагранж. Аналитическая механика, она же денег стоит...» А когда инженер Антонович рискует спасти папку с перепиской Лопаткина, Афончев помогает ему. «Ты мне веришь?» — спрашивает старого рабочего Антонович. — «Как же не верить? — возразил Афончев и насторожился». Антонович рассказывает ему о «изобретении» Лопаткина: «Ты понимаешь?» — спрашивает он старика. — «Еще бы!» — отвечает тот. Антонович

«стал объяснять ему историю борьбы Дмитрия Алексеевича. Здесь он запутался, и истопник положил на рукав свою темную от угля, правдивую руку: «Ты скажи короче, Андрей Евдокимович. Скажи, не бойся».

Афончев переносит спасенную папку Лопаткина из котельной к себе домой. Дома он «чисто умыт, причесан, приветлив и осто-рожен». «Я сделаю все, что надо — не бойся», — говорит он Антоно-вичу. И это как бы ответ народа на сомнения колеблющейся интел-лигенции. Истопник действует осторожно и хитро — «а вдруг дело повернется не так». Он идет в военный трибунал, разыгрывает «бди-тельность», «играя свою роль смиреннько...» и по сути обманывает председателя трибунала.

В Антоновиче читатель видит тип советского интеллигента, кото-рого режим превратил в послушного исполнителя приказов. Своим законопослушанием, точностью он словно прячется от угрызений со-вести. Но когда стали жечь бумаги осужденного «открывателя», у Антоновича «закипело сердце». Позже Галицкий говорит о нем:

«Человек ведь совершил подвиг! Он рисковал быть обвиненным. Формально он ведь совершил преступление!.. Этот человек шел по ниточке — почему? У него закипело сердце!»

Представитель партийной интеллигенции, у которого тоже «заки-пело сердце», — майор трибунала Бадьин. Председатель трибунала, требуя осуждения Лопаткина, говорит Бадьину:

«Мы с тобой не ученые, нам трудно охватить, понять до конца всю сложность этого процесса. Но ты хоть посмотри, за делом следит... общественность, все, вплоть до министров и заместителей»,

— Бадьин отвечает:

«Мы должны и охватить и понять до конца... «Общественность следит?» Надо посмотреть, что это за общественность, имеет ли она право зваться общественностью? «Интересы государства?» Надо еще посмотреть, государства ли это интересы. Должностное лицо — это еще не государство, и... корифей, даже три корифея, — это еще не наука... Слепым исполнителем, особенно в таком деле, быть не могу».

На стороне Лопаткина и упомянутые инженер Араховский и про-фессор Бусько. Араховский читает Ньютона и Брюсова, разводит смо-родину и яблони, изобретает «по мелочам» и бережет свое здоровье.

«Я старый енотишко. Побезденный. Когда-то и я, как вы, выбегал из норы, лез в самую гущу, — говорит он Лопаткину. — А сейчас я енот-калека. Меня спасает только защитная окраска... Сажу в углу, подальше, хе-хе, от драки».

Но все же он продолжает верить:

«Я не устаю верить. Увидел вас — и надежда затеплилась».

Читатель видит в Араховском не «енота-калеку», а «старого стреляного воробья» — бережет здоровье и ждет своего часа.

Профессор Бусько сломлен по-другому. Его сломал «классовый подход» — он, видимо, «непролетарского происхождения»: «Они... не «что изобрел», а «кто изобрел?». Но ни неудачи, ни нищета, ни тяжелый труд для заработка на картошку не остановили семидесятилетнего Бусько — он продолжает открывать» по инерции, почти без надежды на успех. Встретив Лопаткина, он так же, как Араховский, видит в нем свое «глу-у-пенькое прошлое», но пример Лопаткина говорит ему, что дело «открывателей» не погибло:

«Никогда еще он не цеплялся за надежду так, как ухватился после близкого знакомства с Дмитрием Алексеевичем».

Как и все «униженные и оскорбленные», профессор Бусько великодушен и деликатен:

«Не имея денег, подарил незнакомому человеку вещь, которую мог продать за три тысячи, и притом постарался сделать это как можно незаметнее».

Все они — Сьянов, Валентина Павловна, Афончев, Антонович, Бадьин, Араховский, Бусько, соседи Бусько, Галицкий, молодой конструктор Костя — на стороне Лопаткина. Одни от «закипевшего сердца», другие — трудовые люди — от сострадания и от сознания, что борется он за их правду. Есть в них черты отрицательные, но читатель винит за это не их, а режим; например: навязчивую идею профессора Бусько — его боязнь иностранных разведок — читатель объясняет, как зло, порожденное пресловутой «бдительностью».

Автор явно осуждает «классовый теоретический подход» к людям — противопоставляет ему человеческое чувство.

«Есть у людей свойство — думать чувствами. Вот я знаю человека, не имею перед собой его анкеты, а с первого взгляда решаю: он симпатичен! Он приятен!» —

— говорит Надя. О том же в конце романа говорит Галицкий: «Чувства — это вернейший паспорт».

Кто же на стороне Дроздова? В конце романа автор всех «дроздовцев» сводит в президиуме на банкете в честь самого старого «мастодонта» — академика Саратовцева. Саратовцеву 80 лет, он «розовый здоровячок», знаменит тем, что «ранил на дуэли самого Врангеля» (Не Ворошилов ли? — думает читатель: Ворошилов только и известен тем, что участвовал в гражданской войне). Дудинцев описывает доклад о «научных заслугах» юбиляра:

«Академик, оказывается, написал много трудов и еще в 1928 году (начало первой пятилетки, когда Ворошилов выступал с политическими докладами, — думает читатель), разработал некоторые важные проблемы, которые до сих пор не утратили своей ценности».

Саратовцеву вручают адрес:

«Академик, взяв красную с золотыми буквами папку, торжественно направился к министру. Само собой очистилось в рядах президиума место для встречи двух больших людей. Они встретились, троекратно поцеловались, тут же неожиданно вспыхнул магний фотографа, и весь зал загремел, загрохотал».

Для полноты торжества на столе президиума демонстрируют машину — старой, обанкротившейся системы:

«что-то, поблескивая, вращалось, и весь зал и президиум дружно аплодировали: — «Машина-то! Это же револьверная! Шестистолку преподнесли академику!.. Миллионы с того света вышли на стол. Угробленные!»... Понимали все это немногие — восемь или десять человек. Еще человек двадцать догадывались..., но не подавали виду — усердно хлопали. А весь зал гремел!.. Что ни секунда, то громче: потому что имя академика было известно каждому, минута была торжественная, машина занятно мерцала на столе, работая сама, без посторонней помощи... В зале почти никто не видел горькой стороны этого торжества».

Читателю эта картина не может не напомнить съезды и другие кремлевские торжества!

Там же в президиуме сидит Авдиев — старый, матерый волк, «лидер консервативной партии», «самородок» из народа, который в молодости «пришел в лаптях, уперся лбом и раздвинул все и вся!». Авдиев боролся против «машины» Лопаткина, чтобы не утратить своего авторитета, авторитета «деревянного, идиотского бога», — как о нем говорит в конце романа «нейтральный» герой, инженер Крехов. Все новое Авдиев убивает определением — «фикция».

Там же в президиуме и замминистра Шутиков — человек с «сияющей доброй улыбкой», мягко пожимающий руки людям, одетый в дорогой «костюм цвета цемента». Этот «столп» тоже понимает пользу «изобретения» Лопаткина, но он не дает ему ходу по другой причине: он поддерживает устаревшие «машины», которых он сам «соавтор», хотя и не изобретал их.

В президиуме находятся и теоретические защитники «старого порядка»: «доктор наук» — «солидный с женственными формами» Фундатор и «остроносый белесый» Тепикин. Для этих «государство — прекрасный жилой дом». Фундатор действует ссылками на несовпадение нового с «теорией» — «берет мягко, наукообразно», Тепикин — выезжает «на сомнениях — кто его знает!».

Там же в президиуме и генерал-перестраховщик, и карьерист-доносчик, мастер комбинаций (и для себя, и в помощь попавшему впро�ак начальству) Урюпин, и мелкая душонка, бабник Максютенко, готовый исполнить любое грязное поручение старших «монополистов». Между ними и Вадя Невраев — живой барометр внутренних взаимоотношений «жителей Китежа»:

«Инженер, референт и журналист... Светлый пиджак, ...шелковая голубая сорочка... чуть-чуть тянуло не то фиалкой, не то водочкой. Ему лет двадцать пять, а, может быть, тридцать пять, любит выпить, посмеяться и поболтать о «женском вопросе»... Смотрел на все окружающее благодушно и всегда чуть-чуть навеселе».

Отношение к людям — согласно очередному, невидимому «изгибу» начальства. (Чем не представитель литературной партийной шати?).

Лопаткин, окруженный своими сторонниками, — «народ был молодой, почти студенты», — сидит в «третьем ряду» и вспоминает погубленных людей и погубленные дела по воле «мастодонтов» из президиума.

— Мы с вами драться будем», — говорит он, обращаясь к президиуму.

Смысл и методы борьбы против «открывателей нового» всех этих «столпов общества» читатель видит в словах:

«Монополия! Бьют всех инакомыслящих!.. Норовят кличку приклеить!.. Мы — говорит Лопаткин, — с ними действительно враги. Мы не только инако мыслим, но у нас и цели разные... Они глядят уже не вперед, а назад. Их цель — удержаться в кресле. А открыватель нового служит народу. Открыватель — всегда инакомыслящий, в любой отрасли знания (подчеркнуто мною — В. Ж.)... Они боятся диспутов и экспериментов. Здесь — смерть для них. Они сразу к прокурору!»

В другом месте Дудинцев пишет о «монополистах»:

«Гласность, спор, сравнение — все это для них крест, скандал. Придется списывать миллионные убытки, а за это, знаете, иногда по шапке дают. ...Все эти ученые — едут на технике вчерашнего дня! Они, как тутовые черви, ткут из своей слюны одежды для себя же...»

«Неужели это правильно, по-вашему: — говорит Лопаткин, — каждого человека, который натолкнулся на что-нибудь новое и захочет это новое передать народу, неужели это верно — объявлять его анти-социальным явлением?»

Позже Лопаткин вспоминает: «Фантазером, лжеизобретателем — даже сломанным (подчеркнуто автором) человеком называли». Профессору Бусько приписали кличку «Бусько-хулиган». Как это напоминает ругательные клички, которые наклеивает теперешнее партруководство на тех, кто требует необходимых перемен: вначале «хулиганы», затем «гнилые элементы» и «демагоги», потом — «либералы», теперь — «ревизионисты»!

В боязни власти перед новым, творческим, в боязни перед Лопаткиным, борющимся, несмотря на голод, непризнание, заключение, проступает страх того, что такое «непослушание» разрушит «дисциплину». Партийная система с первых дней своего существования строилась на армейский образец, а тут вдруг — самостоятельность суждений, непослушание приказу, непризнание авторитета командиров! Вот почему партийная печать теперь повсеместно требует «крепить железную дисциплину».

Полно глубокого смысла для советского читателя то, что стоило Министерству обороны обратить внимание на «машину» Лопаткина,

как она стала «первоочередным заказом» — этим разоблачается советская политика — все для войны!

Видит читатель в романе и ханжеский смысл мнимо-демократического лозунга кремлевских «монополистов» о «критике-самокритике», придуманного, чтобы держать недовольство широких масс под своим контролем. Лопаткин пробует искать помощи в печати, но опытный Бусько говорит:

«Вы даете новое, а на консультации это новое пойдет к старому!.. К тому месту, откуда реки начались, они возвращаются, чтобы опять течь, к тому, на кого жалуюсь».

Борьба «монополистов» против нового имеет свою философию (к ней, кстати, прибегает и советская критика романа «Не хлебом единым»). Идеолог «монополистов» Дроздов говорит Лопаткину:

«Если бы я был писателем, я бы написал про тебя роман. Потому что твоя фигура действительно трагическая... Ты олицетворяешь собой целую эпоху, которая безвозвратно канула в прошлое... Ты не понимаешь того, что мы можем обойтись без твоего изобретения. Обойдемся — представь! — не понесем ущерба... в силу строгого расчета и планирования, которое обеспечивает нам поступательное движение вперед. Допустим даже, что твое изобретение гениально! Когда по государственным расчетам встанет на повестке дня задача... — Она давно стоит, — сказал Дмитрий Алексеевич. — ... которую стихийно пытаешься разрешить ты, наши конструкторские и технические коллективы найдут решение. И это решение будет лучше твоего, потому что коллективные поиски всегда ведут к быстрейшему и наилучшему решению проблемы. Коллектив гениальнее любого гения... Ты, гений-одиночка, не нужен с твоей гигантской идеей, которая стоит на тонких ножках... народу ни к чему эти дергающие экономику стихийные страсти».

Между сторонниками «открывателя» Лопаткина и «соратниками» Дроздова в романе стоят нейтральные персонажи. Инженер Крехов, бывший фронтовик. Вместе с другими конструкторами, которые работают с Лопаткиным, Крехов вначале думал, что у того «блат» в «граде Китеже»: «Какую вы применили тактику?» — спрашивает он Лопаткина. — «Ладно, может, действительно нельзя говорить. Но при всем вашем недоверии к нам — вы молодец!.. Дмитрий Иванович был для них кузнецом своего счастья». Затем Крехов убедился, что у Лопаткина «блата» нет:

«Чудо! Вы идете, как Христос по волнам!.. Ведь вас, простите меня, колуном хватили по голове. Я бы не выжил, честное слово...»

После очередной удачи Лопаткина Крехов и другие конструкторы «Дмитрию Алексеевичу стали приписывать еще одно качество — **пробивную силу**». Подручных начальства Крехов не любит — он их сравнивает с немецкими минами. Он помогает Лопаткину. Но после осуждения «открывателя» — «через месяц о Лопаткине забыли вообще».

У Крехова своя «философия»:

«Все нормальные люди рождаются с творческими задатками. Большинство из них даже осознает в себе эти возможности». — «Почему же вы их не реализуете? — спрашивает Крехова Лопаткин. — Мы, Дмитрий Алексеевич, незаметно заросли. Получаем прилично, свиньями стали. Кто же захочет возвращаться к тому замечательному времени, когда твоим хлебом, твоей подушкой и твоим пиджаком была несбыточная мечта!»

Есть в романе и военные руководители. Они понимают большое значение для армии «машины» Лопаткина, создают для него специальное конструкторское бюро, но когда Лопаткина арестовывают «органы», когда уничтожают его «машину», никто из них и пальцем не пошевелил в его защиту. В этом читатель видит слепое повиновение власти высшего командования советской армии, его отношение к оброне страны и к судьбам народа.

Того хуже выглядит следователь Абросимов:

«Просмотрев бумаги, он сразу увидел, что дело это не относится к числу тех определенных дел, по которым не может быть двух решений. Когда речь идет об убийстве, растрате или хищении, в этих случаях сам факт ясен... Дело Лопаткина было другим. Начальник сказал, что по этому делу ничего не нужно доказывать... — «Почему этого Лопаткина судят?» — спросил он у начальника. — «Важная государственная тайна. Особой важности, — ответил тот. — генерал звонил. Приказал, чтобы дело передать... тебе!»

Абросимов мог Лопаткина и «подвести» под приговор и освободить:

«Абросимов мог «проявить»... смягчающие мотивы, если бы предание Лопаткина суду генерал признал целесообразным».

Но сделал он, как приказал генерал: Лопаткина осудили.

В образе Абросимова читатель несомненно видит «органы госбезопасности» (фамилия Абросимова напоминает фамилию расстрелянного Аббакумова), превратившиеся в кровавое орудие «монополистов» в их борьбе с новым. Тот факт, что следователь не применял к Лопаткину «недозволенных методов следствия», показывает, что Абросимов для читателя символ «органов» не сталинского периода, а уже хрущевского. Методы изменились, а суть та же.

Партийная критика из кожи лезет вон, чтобы доказать, что события в романе относятся к 1947-му году, в то время как из всего происходящего в романе нельзя не увидеть, что события в начале романа относятся к 1952-му, а после освобождения Лопаткина из лагеря — к 1954-му году (Лопаткин из восьми лет просидел полтора года).

К «нейтральным» героям относятся и учителя Музгинской школы, которые только горько шутят над собой за то, что ставят удовлетворительные отметки ученикам, пишущим в сочинениях о Тургеневе: «Иму не нависны дворяни».

Такие же по сути и гости Дроздова — «высшее» музгинское общество, среди которых жена заместителя Дроздова Ганичева рассказывает об Австрии, где пробыла с мужем год: «Никогда бы оттуда не возвращалась!»

Духовным, так сказать, выразителем «нейтральных» героев читатель видит дочь Ганичевых, Жанну, о которой Лопаткин говорит:

«Мне часто казалось и сейчас кажется, что в ней иногда просыпается что-то, но не может окончательно проснуться. Она целиком вся на первом этаже. Она не из мечтателей, не из романтиков... Я не могу зайти к ней без серьезного достижения, причем это должно быть в первоэтажном плане, то есть признано и напечатано в газетах. Если у человека нет звезды, значит он не герой — вот психология!»

Профессор Бусько на это замечает Лопаткину:

«Она должна увидеть ваши страдания и свою вину. Первое она сможет увидеть... А вот второе — свою вину — этого они не умеют видеть».

Вину эту увидела не Жанна, а Надя. Жанна, хотя и любит Лопаткина, но меняет его на «капитана», который за время романа подрастает до «майора». Иногда, Жанна согласна уехать с Лопаткиным в провинцию учительствовать, но делить с ним его страдания, его борьбу она не хочет. Тем, что в конце романа Жанна сознает свою ошибку и уезжает из Москвы, Дудинцев словно говорит, что «нейтральные» не безнадёжны.

Дудинцев страстно восстает против «нейтралистов» — против людей с «первоэтажной психологией». «Нейтрализм» обывателя только на руку «монополистам». Именно из них «монополисты» черпают послушных исполнителей, удовлетворяющихся «хлебом единым», удовлетворяющихся «папиросами «Беломорканал», когда народ и «открыватели» курят «самосад» и махорку, а «монополисты» — «Северную Пальмиру» (папиросные классы!)

## 5

В образе «открывателя» Лопаткина и в его борьбе Дудинцев дает советским читателям программу действия. Режим выролдился, его философская система оказалась несостоятельной. Идеолог «монополистов» Дроздов у Дудинцева повторяет, как заклинание:

«я только работник... Главная духовная ценность — хорошо работать, создавать как можно больше вещей... Мы работаем на базис... Потому что материя первична... Я строитель коммунизма, я производитель ценностей».

Но читатель знает, что «работе» этой грош цена, большинство ценностей выходят ценностями «вчерашнего дня» (хоть и на 102%); работа «на базис» превратила человека в орудие для работы, перестала быть — работой для человека и ради человека. Сделав Лопаткина физиком, автор как бы подчеркивает: для создания истинно материальных ценностей в наше время примитивный материализм столетней давности не подходит. Нужны глубокие, все время обновляемые знания, какие дает

современная наука. Читатель, читая роман, только глубже осознает не состоятельность большевистского понимания формулы «бытие определяет сознание» — духовная сущность людей оказалась неизмеримо большим «бытием», чем экономика, которой большевики думают перделывать «сознание» людей. **Большевистская идеология оказалась, по сути, идеологией «хлеба единого».**

Порочная система привела к вырождению власти, превратив ее носителей в «монополистов-мастодонтов».

«Как крепко держатся! Разговорами здесь не поможешь, не сдвинешь ничего. Они скажут, что черное есть белое, и проголосуют «за».

Читатель понимает: жалобами, письмами, предложениями, «критикой-самокритикой» делу не помочь — «новое пойдет на консультацию к старому». На Москву надежды нет. Не Москва помогает «открывателю» Лопаткину. Москва травит его, сажает за решетку. Помогает ему провинция, она укрепляет его, она строит его «машину». Когда Надя получает в Московском справочном бюро справку о местожительстве Лопаткина — «таковой не проживает», она думает:

«Да, так оно и есть, так и должно быть. Где ему жить здесь!»

«Открывателям» нового в Москве места нет, все занято состарившимися «монополистами» и их подручными. «Москва — мастерица лечить неглубокие раны» — для читателя это звучит предупреждением. Новое нарождается в провинции. Даже то новое, что приходит из внешнего мира, усваивает прежде провинция:

«Мода шла не своим обычным путем, а, наоборот, перелетев из-за границы, сперва проросла на периферии, и лишь затем проникла в Москву».

Полный провал всего того, что партийное руководство столько лет навязывало народу, читатель видит хотя бы из диалога: «Вы верите в построение коммунизма? — Старик покраснел: — Я как-то не очень задумывался...» Это на тридцать пятом-то году советской власти!

Что же нужно, чтобы началось движение за новое, за передовое? Что нужно, чтобы сдвинуть и привести в движение накопившиеся в стране новые силы? Читатель делает из романа свой вывод: — нужен пример! Нужен герой! Герой, который выступит с открытым забралом — «с развернутым знаменем — с девизом крупными буквами» — так, чтобы сразу все увидели! «Тот, кто маскируется, тот маскируется не только от врагов, но и от друзей!» Лопаткин именно такой. Конечная победа Лопаткина показывает, что политика «развернутого знамени» оправдывает себя: начинает Лопаткин один, скоро вокруг него «добрые люди», затем к его делу примыкают деловые люди с совестью, даже из партийных рядов. Подвиг Лопаткина у простых людей вызывает народное чувство сострадания — «пожалеть», у интеллигенции «закипают сердца». Безмолвия, молчания большинства бояться не нужно, — слышит читатель: «большинство... молчало, но и молчание иногда можно класть на чашу весов».

Дудинцев страстно восстает против развившегося в Советском Союзе бегства людей в «улиточную» жизнь — в сторонку, в «моя хата с краю — ничего не знаю». Дудинцев зовет к активной, творческой жизни, без компромиссов, к борьбе во имя больших человеческих ценностей — для человека, для народа. Ни нищета, ни измена близкого человека, ни страдания не должны останавливать «открывателей»:

«Вы должны продолжать нужное для нее (родины — В. Ж.) дело. Даже тогда, когда она отвергает ваши подвиги. Когда она осуждает вас устами тех своих служителей и судей, которые произносят от ее имени несправедливый приговор», —

— говорит «открывателям» Надя.

Дудинцев сам своим романом дал пример такого героического служения. Небывалый успех его романа у советских читателей и переполох среди «монополистов» доказывают это. Дудинцев — литературный Лопаткин. Он прекрасно знал, как ответят на его литературное «изобретение» «монополисты»: травлей, кличками «нигилист», «спекулянт на текущем моменте», «клеветник», и другими, которые вешают на него, как вешают их в романе на Лопаткина. Дудинцев знал, что идеологические атаки против его «изобретения» пойдут по линии обвинений в «индивидуализме» и «непонимании значения коллектива». Сажая своего героя в лагерь, Дудинцев тем самым допускал и этот «последний» вариант защиты со стороны «монополистов». И на все это Дудинцев пошел.

Обвинениям критики Дудинцев ответил в романе:

«А ведь с каким апломбом говорят о коллективе! — Если взять самую большую или самую маленькую единицу в авдиевской бражке, в душу к любому если забраться, — там бесконечное одиночество свищет, как ветер в половецких степях. Хоть их там и целая компания, но это не коллектив».

Духовно обанкротившаяся «компания» «монополистов» старается оговорить Дудинцева и его роман (тем самым и читателей), чтобы скрыть свою духовную изоляцию, которая, как признает в романе Дроздов, «чем выше» они по положению, «тем полнее».

Дудинцев-Лопаткин не «индивидуалист» — он зачинатель других, творческих коллективов:

«Над вашей машиной трудились вы, Крехов с Антоновичем, ну и немножко я, — говорит Галицкий Лопаткину. — А над машиной Гипролита трудился целый институт. Два института! Академик, три доктора, два кандидата и целый отдел инженеров... Тридцать три богатыря решают проблему, а нас только четыре — и наша взяла! Вот вам тема для диссертации — что такое монополия, почему **все** (подчеркнуто мною — В. Ж.) валится у нее из рук и чем она отличается от настоящего коллектива».

Читатель не совсем согласен с Галицким: в создании «машины» Лопаткина принимали участие и рабочий Сьянов, и его жена, и его дети, и учительница Валентина Павловна, и Надя, и истопник Афончев, и соседи Бусько — не прямое участие, а то глубокое, незримое участие людей, без которого не бывает на свете больших дел.

В литературном смысле роман «Не хлебом единым», может быть, единственное произведение, полностью соответствующее определению «соцреализма», как говорит об этом термине Устав Союза Советских писателей, принятый на Втором съезде: «Социалистический реализм, ... требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии». Все эти элементы в романе Дудинцева налицо. Разница в том, что Устав писателей видит эти элементы так, как объясняет их партийная власть, а в романе Дудинцева они — как в жизни. В целом роман написан в плане русской классической литературы — ее основные черты, критицизм и человечность проходят через весь роман. Прав французский писатель Франсуа Мориак, который пишет, что роман В. Дудинцева продолжает лучшие традиции русской классической литературы.

Если говорить о чисто литературных влияниях, в романе сильны влияния Достоевского, романа Чернышевского «Что делать?» и ... Джека Лондона.

Художественная ценность романа — в искусном и довольно полном охвате огромной темы, вернее, нескольких тем.

Но в художественных удачах таятся и причины литературных недостатков романа. Символичность, огромность темы, большое число действующих лиц привели к некоторой схематичности романа — она проглядывает и в действии, и в обрисовке героев.

Схематичность чувствуется и в языке героев — Дроздов на разных страницах говорит разным языком, у рабочих Сьянова и Афончева попадают «интеллигентные» слова. Правда, этому есть объяснение: социальные слои советского общества так перемешались, что не стало характерного языка для разных социальных групп. Встречаются в языке романа и небрежности, но это — от спешки — автору надо было успеть выпустить роман, пока имелась для того возможность — опоздай Дудинцев на два-три месяца и роман не увидел бы света.

То же можно сказать и о перегруженности романа «литературщиной» — автор пользуется именами и цитатами из Достоевского, Джека Лондона, Некрасова, Брюсова, Блока, Маяковского, Толстого, Дизеля, Ньютона, Лагранжа. Но и это можно объяснить: с одной стороны — темой романа, с другой — любовью советских людей к чтению.

Будь у Дудинцева возможность писать свободно, роман «Не хлебом единым» был бы значительно большей по размерам книгой и в художественном отношении более ценной. Для художественной убедительности роману явно не хватает, например, изображения Лопаткина в тюрьме и лагере, но Дудинцев не может об этом писать и дает только несколько общих описаний перемен в Лопаткине после его возвращения из лагеря.

Успех роман имеет не только у читателя, но и у советских писателей. Так, например, в альманахе «Наш современник», в 1956 г., вскоре после выхода романа, был напечатан рассказ Михаила Зюева «Туман» — о борьбе провинциального одиночки — «открывателя болотных кладов»

— против Москвы и о сочувствии к нему простого народа. Рассказ кончается мыслями приехавшего в провинциальную глушь «ответственного» москвича:

«Когда душой твоей овладевает большая страсть — стремление, мечта, назови, как хочешь, и владеет не в полсердца, а поглощает целиком, до последней мысли, до тончайшего изгиба души, только тогда наверно, и живешь полной жизнью, живешь как настоящий человек. А вот я отяжелел... Разменял жизнь на мелочи, на пятак и не смог бы сейчас упрямо шагать сквозь туман, как шагает где-то рядом седой, с усталым взглядом человек, и сквозь туман видящий яркий свет».

Велико значение романа В. Дудинцева: в нем, как и в книге «Новый класс» Милована Джиласа, убедительно показано духовное вырождение коммунизма. Коммунистическая идеология превратилась в идеологию «хлеба единого». Сам Хрущев подтвердил это, заявив к чему свелась партийная идеология:

«Как к чему, товарищи? Да какая наша цель? ... Масла, мяса, овощей и прочей снеди — в достатке! Поднатужимся, товарищи!»

О том же самом трижды твердил Хрущев советским писателям на своих «литературных беседах» в помещении ЦК, — речи его теперь известны под названием «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа».

В г. Моравска-Острава (Чехословакия) Хрущев в 1957 г. захлебываясь и приплясывая кричал:

«Товарищи, разве будет плохо, если мы к хорошей теории марксизма-ленинизма да еще хороший привяжем кусочек сливочного масла, да хороший кусок свиного мяса, да вдоволь молока, так знаете, при таком марксистско-ленинском учении трудно даже твердолобому устоять. Потому что со смазкой идеи марксизма-ленинизма будут ввинчиваться в мозги каждого человека».

Не верит уже Никита Хрущев в идеологическую силу своего марксизма-ленинизма, маслом и салом надеется соблазнить голодных граждан коммунистической империи. Криком кричит: догоним Америку по производству мяса, масла, молока на душу населения! — хотя сам-то отлично знает, что догнать в заданные сроки физически невозможно.

Кривляется над миром Красная Роза — помесь партийного снабженца, пьяного купчика и юродивого, стелется над российскими просторами хриплый и визгливый голос Царя Нового: захлебываясь выкрикивает он свои заклинания: масло! мясо! молочко! картошечка! хлебушко-батюшка! А высоко в небе идет другой чистый и ясный голос: Не хлебом единым жив человек. «Клеветническая книжка!» — вопит царь Никита и опять кричит: масло! мясо! сало! Но не дано ему перекричать голос извечной правды: Не хлебом единым жив человек.

## **„Семь дней недели“**

«В начале сотворил Бог небо и землю» — так начинается книга «Бытия». Из первобытного хаоса в течение недели — день за днем — создавались небо, земля, моря, животные, птицы, и, наконец — в День Шестой был создан человек: «И да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» — так рассказывает Библия.

Библейский рассказ о сотворении мира, как образ, лежит в основе поэмы «Семь дней недели» Семена Кирсанова. Читатель поэмы догадывается: хаос — смесь тьмы со светом — на родной земле окончился со Сталиным. Но послесталинская Неделя у Кирсанова проходит иначе, чем в Библии:

**«Грядет Суббота — День Шестой,  
День завершения всех стихий.  
Все создано: Земля и Свет,  
Но Человека только нет».**

Именно эта тоска по Человеку, по человечности — одна из главных тем современной советской поэзии. Вот, например, стихотворение, напечатанное в альманахе «Литературная Москва»:

**«Облако, книгу, машину люби,  
Но прежде всего — человека.  
Глубоко в груди своей ощущай  
Боль ветки засыхающей, звезды угасающей,  
Раненого животного боль,  
Но прежде всего — человека».**

Поэт Яков Аким, увидев над московской площадью предупредительный знак для автомобилистов: «ОСТОРОЖНО — ГОЛУБИ» — с горькой иронией пишет:

**«Тронутый заботой о птицах,  
Я прошу товарищей в ОРУДЕ,  
Чтобы в райсоветах и больницах,  
В нарсуде, в приемной учреждения  
Был развешен знак предупреждения —  
ОСТОРОЖНО — ЛЮДИ!»**

(альманах «День Поэзии», 1956 г.)

Нестерпимая тоска советского человека, которому правящая власть все только обещает счастье в будущем, его тоска по человеческой жизни слышится в стихотворении Марии Петровых:

**«Назначь мне свиданье на этом свете,  
Назначь мне свиданье в двадцатом столетии!..  
Пока еще слышим,  
Пока еще видим,  
Пока еще дышим,  
И я сквозь рыданье  
Тебя заклинаю:**

**Назначь мне свиданье!»**

(«День Поэзии», 1956 г.)

Ни у кого из советских поэтов тоска по человечности не звучит так полно и глубоко, как у Семена Кирсанова — в его поэме «Семь дней недели» («Новый мир» № 9, 1956 г.). Как и Дудинцев, Кирсанов берет научно-технический образ — «проект второго сердца», себя уподобливает конструктору. «Все двери настуже, если в доме душно!» — начинает поэт и, обращаясь к родной Стране, говорит:

**«Всей своей сутью — ты сама Свобода,  
так отмени и пропуска у входа —  
и жалобу на тех, чье сердце — камень,  
прими своими добрыми руками.  
И так скажи: — Я не отвергну просьбы,  
хоть отложить свой праздник мне пришлось бы.  
Мне нужен каждый, и мне дорог каждый  
мечтатель, изнывающий от жажды.  
Мне, как и вам, бездушье ненавистно!  
Чтобы оно вторично не нависло,  
я никому не откажу в защите!  
Задумывайте, мыслите, ищите,  
я вас не встречу запертою дверью,  
И, как мандат, вот вам мое доверье!  
Да будет день ваш будущим оправдан! —  
Так скажешь ты, Страна, и это правда».**

После сталинской тьмы поэт мечтает о новой жизни, о мире иных отношений:

**«Захотелось солнечной  
наконец-то встречи,  
редкостной до полночи,  
долгой-долгой речи,  
наконец — открытого  
разговора всюду,  
без шептанья скрытного:  
„Не случится б худа...“  
Захотелось цельности  
мнений неподдельных, —  
Днем Высокой Ценности  
стал бы Понедельник.  
Захотелось, может быть,  
тех, кто сердцем замер,**

наделить надежными  
новыми сердцами,  
потому что старые  
глухо стали биться,  
угрожая, стало быть,  
вдруг остановиться».

Создание новой жизни поэт видит в том, чтобы наделить людей новыми — добрыми, отзывчивыми, человеческими сердцами:

«...я уже нарисовал  
проект второго сердца,  
и я его уже сдавал  
в окошко министерства,  
чтоб срочно утвердить чертеж  
деталей животворных,  
и мне ответили: — Ну что ж,  
придите через вторник».

С этого начинаются беды. Поэт жалуется на ханжескую, казенную «заботу о простом человеке»:

«Мой друг уже читал с трудом  
сквозь суженные веки  
статью: «Забота о простом  
советском человеке».

Появляется Вторников — символизирующий власть имущих. Имя это показывает читателю, что Вторников — порождение «Дня Второго» (роман И. Эренбурга) — то есть эпохи бесчеловечной сталинской индустриализации конца 20-х и начала 30-х годов:

Приказ: — „Не забегать вперед!” —  
прислал товарищ Вторников.  
Ассигнованья сократив,  
он штраф на нас начислил,  
чтоб никаких без директив  
не зарождалось мыслей!»

Потеряв надежду на «министерство», поэт, как и герой романа «Не хлебом единым» Лопаткин, обращается в высшую, партийную инстанцию:

«Скорее в партию, в райком!  
Мне там ответят: Можно! —  
Стоять я буду за станком  
без смены, денно, нощно!»

Но наступает Среда — День Третий — или третий год, если считать со дня смерти Сталина. Этот третий год, как известно, закончился двадцатым партсъездом. Поэт ободрился; поверил, что все теперь будет хорошо:

«Уже как Средние Века  
вдали вчерашняя тоска...

Вот что я создал, что открыл,  
я запертую грудь открыл  
и заменил свое другим,  
и стал не прежним, стал другим.  
И, не нуждаясь в звуках фраз,  
стал понимать сигналы глаз  
и разбираться в людях стал:  
кто слаб, кто болен, кто устал,  
кто, надорвавшись, стал таким,  
а кто прикинулся таким,  
кому — как донор — руку дать,  
кому руки нельзя подать».

Наступает Четверг — День Четвертый. Если это символ четвертого года после Сталина — значит пятьдесят шестой год:

«Настал Четверг, и мной в начале дела  
безжалостная трезвость овладела...  
Что трепетом волненья мне казалось,  
то просто дребезжаньем оказалось  
.....  
И, оказалось, было чувство локтя  
искусством ловко спрятанного когтя.  
.....  
...оно молчало, когда боль кричала,  
когда рука в стальную дверь стучала».

На поэта наваливается кошмар — ему снится, что в жизнь вернулось сталинское прошлое:

«Считать сердец количество  
пошел его безличество  
сам Предместкома главка  
и встал, как у прилавка:  
— Кому вставлять? Уставшим?  
Ведущими не ставшим?  
Отставшим и которые  
не личности в истории? —  
Он в очередь поставил их,  
Он в сторону отставил их,  
а в том числе и друга,  
которому так туго,  
так душно, трудно дышится,  
как мне сегодня пишется.  
И вместо них идет другой,  
кому-то, видно, дорогой.  
Идет, заслуг не объяснив,  
идет, усталых отеснив,  
но не простым просителем —  
с билетом с пригласительным,  
веселый, хитрый, с лысинкой,  
с какой-то лисьей крысинкой.  
Не Вторников ли? Вроде.  
Он не один в природе.  
Держа в руках записки,  
с галочками в списке,  
явились Безразличные,

держа анкеты личные,  
потом вошли Двуличные,  
надев пальто приличные.  
Явились Лжесвидетели —  
строчили ложь не эти ли?  
Все входят с пропусками,  
посмей, не отойди.  
В руках все держат камень,  
что был у них в груди».

Но на следующий день — в Пятницу, как символ, это может быть  
пятьдесят седьмой год, — поэт в ужасе видит свой кошмар наяву  
(поэт оказался пророком!):

«Идут большой комиссией  
с какой-то важной миссией.  
Я узнаю Двуличного —  
не скажет слова лишнего.  
Как строго и уверенно  
шагает Безразличный,  
а рядом строг умеренно  
его помощник личный.  
Сопrotивляться глупо!  
Суют персты в артерию.  
Сердца подходят щупать,  
как на штаны матерью.  
Уже составлен краткий акт.  
— Не подходяще. Точно. Факт.  
Для ширпотреба  
таких сердец не треба.  
И вообще новинок  
не требует наш рынок.  
Нужны сердца полезные,  
как замки железные,  
несложные, удобные,  
все исполнять способные...  
Чернить? Чернить!  
Ценить? Ценить!  
Громить? Громить!  
Кормить? Кормить!  
Рычать? Рычать!  
Молчать? Молчать!  
Губить? Губить!  
Любить? Любить!  
И никаких кардиограмм,  
а для порядка — двести грамм!  
В дальнейшем за „искания“  
налагать взыскания!»

Поэт в смятении:

«По коридорам министерств  
бегу, в приемные стучусь.  
Вот Комитет Высоких Чувств,  
вот сектор Неотложных Дел,  
вот Человечности отдел.

— Пустите нас обратно в цех,  
мы ж там работали для всех.  
Товарищ Вторников не прав —  
мы просим правды, просим прав...»

Но не министерство и не партия услышали поэта:

«Мой стук слышала Страна.  
И вот в две бережных руки  
размером в два материка  
берет Страна мои листки  
и вверх уносит в облака,  
и в лупу Солнца где просвет,  
рассматривает мой проект.  
Вот улыбается Страна,  
нет, стала хмуриться она,  
нет, снова из-за хмурых туч  
мелькнул ее улыбки луч,  
сейчас напишет „да“ свое,  
согласье на лице ее!  
Но снова туча среди дня  
Страну закрыла от меня.  
Не туча — это часть лица  
из тех — служебного лица,  
какие рады от Страны  
сердца живые отстранить!»

.....  
«Руки опускаются.  
Я шепчу: — Товарищи!  
Но мои товарищи  
по домам расходятся,  
потому что, может быть,  
в мнениях расходятся  
в том, что чудо может быть:  
— Вновь отложит Вторников  
дело на сто вторников!»

Вторникова читателю узнать не трудно:

«веселый, хитрый, с лысинкой,  
с какой-то лисьей крысинкой» —

Вот почему Суббота — День Шестой — у поэта заканчивается так:

«Все создано: Земля и Свет,  
но Человека только нет».

В Воскресенье — в День Седьмой — поэт берет газету:

«Там я увидел Вторникова фото,  
он умиленно поздравлял кого-то,  
что улыбался как-то хитровато  
под буквами „Прославленный новатор”».

Поэт выходит на улицы:

«Повсюду предлагали магазины  
сердца из жести или из резины,

**и надувные, с кнопкою пищащей,  
и набивные, с надписью „На счастье”...  
Ложь в виде сердца нагло продавалась...»**

Поэт предостерегает людей, «поверивших в душевность сих изделий»:

**« — Не покупайте! Это все подделка!»**

На что же надеяться? Кто поможет человеческому сердцу? Поэт ясно говорит: все надежды на Страну, на народ. Страна говорит людям и поэту:

**«... — А вы идите дальше.  
Я правду сердца отличу от фальши...  
Я на земле, как оспу или рожу,  
мертвящее бездушье уничтожу.  
Во мне ведь все сердца живые бьются,  
и мне ведь больно, если разобьются.  
Иди спокойно в Новую Неделю,  
и покажи, чем ты живешь на деле,  
и день твой будет будущим оправдан! —  
Так скажешь ты, Страна, и это правда!»**

Именно это сознание, что за ними Страна, то есть — народ — дает советским поэтам силу «итти дальше». Несмотря на бездушье и давление партийных Вторниковых, честные писатели не сойдут с дороги борьбы за конечное торжество Человечности.

С. Кирсанова, как и Маргариту Алигер и других советских поэтов и писателей, партийная диктатура заставила «каяться» — убивать в себе творческую душу публичным отказом от самих себя. С. Кирсанов в оправдание перед потомством пишет в стихотворении «Людям будущего» (альманах «Литературная Москва» № 2):

**Пусть трудно тем, кто был допущен  
смотреть и вглядываться дальше:  
перед стихами о грядущем —  
стояли бастионы фальши!»**

## **„Квартира № 13“**

Появление на свет в феврале 1957-го года «маленькой повести» Анны Витальевны Вальцевой — «Квартира № 13» — кажется чудом. Первый номер нового журнала «Москва», где напечатан рассказ А. Вальцевой, был явно подвергнут «чистке» уже после того, как был сдан в набор. Обыкновенно между «сдано в набор» и «подписано к печати» проходит около месяца, — в журнале ни слова не сказано, когда он был сдан в набор, к печати же подписан он был только 2-го февраля — это январский-то номер! Материалы первого номера журнала «Москва» были, видимо, подготовлены еще в 1956 году, в набор сданы в конце ноября — начале декабря, как раз когда началась широко организованная травля романа В. Дудинцева и других критических произведений. Видимо, тогда и был разгромлен еще не появившийся на свет первоначальный вариант первого номера журнала «Москва» — пришлось редакции срочно искать новые произведения для замены вычищенных цензурой.

Известно, что первый — программный — номер журнала обычно содержит тщательно отобранные, хорошо отредактированные, литературно удачные произведения — так, видимо, было и в подготовленном первом номере журнала «Москва» — органе Союза Писателей СССР и Московского отделения СП СССР. Но стоит просмотреть этот номер, чтобы убедиться, что содержание его неровное, случайное, а главное, оно не соответствует объявленному в том же номере профилю журнала. В передовой от редакции сказано, что цель журнала «Москва» — «систематически освещать жизнь столицы, созидательные усилия ее рабочего класса, интеллигенции, служащих, учащейся молодежи», а в самом журнале (в первом номере!) на 220 страницах такой «московской тематики» почти и нет: только небольшая заметка художника Ю. Пименова — «В Подмоскovie», несколько литографий с картин с видами Москвы и рассказ «Квартира № 13» А. Вальцевой.

Последнее обстоятельство, видимо, и было причиной того, что редакции удалось отстоять рассказ Вальцевой — без него в первом номере журнала «Москва» совсем не было бы литературы о «московском» — в других журналах о Москве пишут гораздо больше.

Вряд ли это случилось бы, знай партийная цензура заранее реакцию читателей на рассказ. Судя по нападкам казенной критики на «Квартиру № 13», читатели в этой «квартире» увидели не просто московскую коммунальную квартиру, а нечто большее — некую символическую «квартиру» всесоюзного масштаба.

Уже сам номер «квартиры» — «чортова дюжина» — заставляет

читателя искать «второй план» рассказа. Скоро он замечает, что в «квартире» этой живут и встречаются не просто жильцы-москвичи, а представители всех основных слоев советского общества, при этом самых различных возрастных категорий — от дошкольного и школьного возраста до старшего поколения, выросшего до Октября.

Почти в самом начале рассказа выясняется, что хотя квартира № 13 и коммунальная, но состоит она, собственно, из двух «квартир»: из общей, где живет трудовой народ, и отдельной, где живет семья Ковалева — представителя советского имущего класса партийной бюрократии:

«Собственно говоря, у них отдельная квартира: три комнаты, своя кухня и все службы, только ход у них общий».

Автор рассказа называет Ковалева — «военным в отставке», но по ходу рассказа читатель видит, что Ковалев скорее из «органов», при этом в больших чинах — он носит папаху, а папаху в СССР носят только полковники и генералы. Военные в СССР уходят в отставку по нетрудоспособности, а Ковалев ведет переговоры о новой службе:

«— Куда бы он ни поступил, все равно плохо... Он бюрократ и бездушный человек... У него есть связи. Друзей нет, а связи есть!

— Никуда он не пойдет. Он привык к другим условиям работы, а теперь они изменились».

Заметны в Ковалеве и привычки работника «органов»:

«Как я не люблю этот его взгляд, когда он смотрит на вас, но не в глаза ваши, а в переносицу, так, что вы никак не можете встретиться с ним взглядом».

Сцена встречи Ковалева с вернувшимся из лагерей после семнадцати лет заключения Александром Никитичем не оставляет сомнения в недавнем прошлом Сергея Ковалева:

«Улыбаясь, Сергей Сергеевич двинулся вперед, но вдруг остановился и сделал шаг назад. Навстречу ему вышел Александр Никитич. Они смотрели один на другого, и мы все поняли, что они знают друг друга. Стало очень тихо. Видно было, что Ковалев ужасно растерялся, потом он как-то жалко улыбнулся и протянул руку Александру Никитичу.

Тот стоял неподвижно и только в упор смотрел на Сергея Сергеевича».

Ковалеву за шестьдесят, «хотя выглядит он моложе». Живет он с семьей в достатке, окруженный хорошими, дорогими вещами, изолированно от других жильцов. Когда он разговаривает с соседями, то «о том, чтобы задать ему вопрос, спросить о чем-нибудь, не могло быть и речи». Философия Ковалева сродни философии дудинцевского Дроздова:

«...Сергей Сергеевич, расхаживая по нашей комнате, скрипя сапогами и брезгливо поглядывая на картошку, которую я ела:

— Или Павел Александрович (художник — ВЖ) должен поступить на службу, или вы (писательница — ВЖ) не должны были бросать музей... Это позор, что у вас ничего нет!

— У нас есть все необходимое, — робко возражала я.

— Оставьте! Разве это вещи? Вы же люди со вкусом, понимаете сами! Хватит этой богемы! В наше время, в нашей стране жить так — неприлично! У вас есть все возможности жить иначе!.. Разве можно заводить ребенка, живя в одной комнате?.. И вообще, извините меня за прямоту, но мне кажется, что вы неудачники».

То, что Ковалев — представитель правящих кругов, поднявшихся в сталинские годы, и то, что в народе надеялись на освобождение от власти этих кругов вместе со смертью Сталина, видно из слов учительницы-студентки Нурии о Ковалеве:

«— Он страшный. Я часто думаю о нем и понимаю, что он может быть страшным... Какое счастье, что я могу его не бояться!.. Вот он слоняется по квартире, пристает ко всем с дурацкими разговорами, смотрит в телевизор все подряд, мешает мне, а я радуюсь! Радуюсь, что он не у дел. И пускай ему платят большую пенсию, никаких денег не жалко, лишь бы его никто не боялся!»

Учительница Нурия и другие жильцы боятся, что Ковалев «вернется на службу», то-есть боятся того, что сейчас в СССР и случилось.

Когда-то, в молодости Ковалев был иным:

«Ковалев снят в распахнутой шинели с красным бантом на рукаве и кожаной фуражке, сдвинутой на затылок. Буйный чуб вырывался из-под фуражки, глаза блистали задором».

Кто из советских читателей при этом описании фотографии не вспомнит фотографии Сталина времен гражданской войны? Одно место рассказа особенно показывает на поразительное сходство Ковалева со сталинцами хрущевского типа. Приблизительно в то время, когда еще писался рассказ «Квартира № 13», в Варшаве Хрущев выступал против польских коммунистов, объявив, что у них «слишком много «абрамовичей»! В рассказе имеется такая сцена:

«Ковалев несколько раз, обращаясь к Якову Аркадьевичу, назвал его Яковом Абрамовичем.

— Аркадьевич! — мягко поправила мужа Вера Алексеевна.

— Аркадьевич! — поправила его я во второй раз.

Когда Ковалев третий раз сказал „Абрамович“, Павел стукнул кулаком по столу и встал.

— Айда домой! — сказал он мне, Якову и Лиде и вышел первым».

Ковалевы появились на свет не случайно, их появление не результат «культа личности», а явление закономерное, и читатель видит это по сыну Ковалева — школьнику Володе:

«...эгоистичен и холоден. Это черты отцовские. И отца он не любит, говорит об отце высокомерно, нехорошо».

Володя оставляет в драке заступившегося за него товарища, и по-

ка того избивают, спокойно ест дома суп. Он выдает всех товарищей по классу. Рабочих он презирает:

«С ума сойти! — Не-ет! ...рабочим не стану!.. Умный человек не должен дать себя повесить!»

Честный труженик-художник Павел о Володе говорит:

«— Вот так подлецами и становятся!»

У Ковалева-старшего для сына «есть целая шкала наказаний и поощрений» — он сечет его ремнем, но «когда Володька кончил девятый класс отличником, отец подарил ему золотые часы».

Несмотря на свои шестнадцать лет, сын Ковалева уже усвоил отцовские методы: когда маляр не вызывает энтузиазма при побелке кухни, Володя советует: «Дайте ему на поллитра и дело с концом». У советского читателя так и напрашивается сравнение методов Ковалева с «нормами советского правосудия» и «методами поощрения».

Третий член семьи Ковалевых — жена Сергея Ковалева, как и Надя в романе Дудинцева, осознает свою вину перед людьми — перед народом:

«Извините меня, — шептала она, — извините, пожалуйста... И... спасибо!»

В конце рассказа она бежит из семьи.

Как бы в противовес Ковалевым, в рассказе показаны две семьи: старого рабочего Попова и художника Павла. Каждая из них — по три человека — живет в одной комнате. Михаил Иванович Попов — старый потомственный рабочий, «старый коммунист и участвовал в вооруженном восстании», но, несмотря на большой партийный стаж, карьеры на этом не сделал — как был, так и остался рабочим. На заводе он «такой же молчаливый, как дома, и добрый такой же»... Дома он тоже работает: «На кухне Михаил Иванович приспособил верстачек с тисками, и там вечерами что-то мастерит». Что и для чего мастерит советский рабочий дома по вечерам и в выходные дни — советскому читателю хорошо известно: для приработка.

В молчании старого рабочего, революционера, в его скупых замечаниях нетрудно уловить осуждение режима и стоящих у власти вождей:

«— Ты говоришь — предательство! — говорит он школьнику Севе. — Его различить не так легко. Оно самые неожиданные формы принимает».

Он рассказывает о царской тюрьме, но советскому читателю нетрудно узнать в ней не царскую, а советскую тюрьму:

«— Камера — на тридцать пять человек, а в ней до полутора года человек поместили — все политические подсудимые... Приговоры были жестокие, но разрешалось подать прошение о помиловании...»

Когда в рассказе случается ковалевско-хрущевский эпизод с «абрамовичем», школьник Сева передает слова старого рабочего:

«— А дядя Миша говорит, что если поскрести антисемита, то всегда найдешь еще какую-нибудь подлость».

И добавляет от себя:

«Не всякий подлец — антисемит, но всякий антисемит — подлец».

В этом замечании ученика старшего класса сказывается влияние дяди Миши. Так, видимо, относится к власти имущим теперешняя школьная молодежь — и не только в отношении антисемитизма.

Только со школьной молодежью не молчит молчаливый дядя Миша. Словно на нее одну у него надежда. Он показывает им завод, рассказывает о революционных боях, о жертвенности революционеров:

«Жить очень хочется... Жизнь дорога, но честь революционера дороже!»

Жена дяди Миши — Ксения Васильевна, в отличие от мужа, «громогласна и чрезвычайно активна». Раньше и она работала, но умерла дочь и пришлось Ксении Васильевне работу бросить и нянчить внука Егорку. Растит она внука не так, как Ковалев своего сына:

«Взяла Егорку, с нежностью поправила ему чубик и сказала: — Людей, подлец, любит».

Несмотря на ругань Ксении Васильевны, жильцы ее любят. Школьник Сева говорит о ней:

«А все-таки, несмотря на „стервецов“, „подлецов“, „сукиных сынов“, она этого Егорку любит без памяти. Есть такие — внешне грубые, а по существу очень хорошие люди».

Ксения Васильевна — жалостливая, добрая русская женщина. Ковалева она «не любит и говорит о нем всегда с брезгливостью», но других соседей жалеет:

«Я обхожусь в сухоматку, — рассказывает писательница, — но Ксения Васильевна то и дело подсовывает мне то щи, „уж до того удачные“, то что-нибудь другое... Не знаю, как бы мы выкрутились, если бы не Ксения Васильевна. Она опять предложила мне заем».

О своей жизни Ксения Васильевна говорит писательнице:

«— Написала бы ты, молодка, роман из моей жизни. Читали бы люди — слезьми заливались бы!».

Есть у нее свои твердые правила жизни:

«— Меня отовсюду гонят. А почему гонят? Потому что жуликов

много... Тот будет честен и чист останется, в ком чувство собственного достоинства сильно. Только в этом спасение. А урони себя — и станешь игрушкой в руках жуликов».

Как это напоминает поведение дудинцевского Лопаткина! В уста Ксении Васильевны А. Вальцева вкладывает слова, почти дословно встречающиеся во многих произведениях советской литературы 1956—1957 г., смысл которых перекликается с программой действия того же дудинцевского героя. Видимо, в смысле этих слов и скрывается то новое качество в сознании советского человека, которое так отличает его от сознания прошлых лет. В ответ на замечание запуганной Зои Ивановны — жены репрессированного: «Какая вы смелая!» Ксения Васильевна говорит:

«— Бояться ничего не надо... — все одно, милая, правда свое возьмет!» (подчеркнуто мной — ВЖ).

Автор рассказа, словно подчеркивая смысл этих слов, от себя добавляет:

«Почему — „все одно“? — думаю я».

Никому не доверяет своего тайны-горя Зоя Ивановна, кроме Ксении Васильевны и дяди Миши — они жалеют ее, сочувствуют ей, помогают.

Семья художника Павла состоит из него самого, жены-писательницы и шестнадцатилетнего ученика Севы. Павел фронтовик. Ему

«очень хочется заниматься живописью, он ее любит..., но жить на живопись да еще имея семью, трудно... Один раз Павел полгода работал над картиной: когда он показал ее Совету, его хвалили, но просили переделать то одно, то другое, в конце концов вещь была „замучена“... Тогда-то Павел и взялся за графику, стал оформлять и иллюстрировать книги. Графика все же надежнее».

А. Вальцева не договаривает, почему иллюстрация книг «надежнее» живописи, но советские читатели знают, что честные художники предпочитают иллюстрировать книги классиков, книги для детей и другие издания, только бы не отдавать таланта на лживую, пропагандную живопись.

Павлу удалось достать для себя «творческую командировку» на целинные земли, но там ему пришлось писать картины о «новоселах». По возвращении из командировки устроил выставку. Выставку хвалили, «но Павел ходил мрачный».

«Этюдики! — говорит он, с ненавистью глядя на свои работы. — Этюдики, наброски, эскизы... А где картины? В газетах, небось, пишем: „Нужны большие, умные картины... темпераментные по живописи... смелые по мысли... пронизанные светлым гуманизмом!“»

Вот почему мрачен художник — «смелые мысли», «светлый гуманизм» в живописи разрешаются только на словах, но не в жизни!

«Выставка закрылась. У Павла купили одну работу в музей. Товарищи поздравили его... Вырученные за продажу деньги я хотела отдать Ксении Васильевне, но она сказала, чтоб я оставила себе на жизнь, им не к спеху. Павел слышал этот наш разговор, походил несколько дней мрачный, потом позвонил в издательство и взял на оформление книгу... Мне стало очень, очень грустно. Если бы было куда уединиться, я бы, наверное, заплакала...»

Сама писательница — жена Павла — работает над книгой о московских древнехранилищах (тоже вроде графики мужа — только бы не писать о современности!).

«Писать, — говорит она, — надо только тогда, когда не можешь не писать. Если говорить правду, я взялась за эту работу потому, что работа в музее стала казаться мне однообразной, хотелось писать о чем-нибудь новом, и еще... очень, очень нужны были деньги... И все-равно живется не так легко, и все равно Павел не может заниматься живописью, к чему способен, на что имеет право... Прошла горькая минута, и мне стало самой неловко. Проживем! И купим Сева новые ботинки, — давно пора...»

Это «проживем!» — не что иное, как та же идея — «не хлебом единым жив человек». Советский читатель слышит из рассказа А. Вальцевой: трудно у нас в Советском Союзе оставаться самим собой, но это куда лучше, чем быть духовно опустошенным Ковалевым!

От «художественной интеллигенции» в рассказе А. Вальцевой веет какой-то атмосферой старой русской интеллигенции — ее традициями, народностью, чистотой, идеализмом. И еще — неистребимой жаждой творческой свободы.

Ковалев не понимает этой высокой настроенности «художественной интеллигенции», она ему чужда по духу, но простой человек понимает — и жертвенность ее, и чистоту. Ковалев советует «художественной интеллигенции» смириться и «итти служить», а простая русская женщина — жена рабочего Попова говорит:

«— Я думала, писатели богато живут! — (и я и Павел в ее представлении „писатели“) — Думала, по курортам ездят, на дачах прохлаждаются, а поглядела, как вы работаете... Ну, это тяжелый труд! День ли, ночь ли, не глядя работаешь, праздник тебе не праздник, все бумагу пишешь, а потом все перечеркиваешь... А потом, как позвонят из редакции — и все им не так! Начинать сызнова! И ведь им, проклятым, не закажешь!»

Простой человек понимает «писателей» и деликатно старается помочь им, чем может: «щами» или небольшим займом. И «писатели» помощь эту принимают — от чистого сердца она, — а от ковалевской помощи отказываются.

Кто же получился центральной фигурой в рассказе «Квартира № 13»? Ученик Сева — сын художника и писательницы.

Сева учится в 9-м, а затем в 10-м классе. Он живо присматривается к жизни, к людям, очень рано научился обобщать виденное — его «формулировочки», как говорит его отец, предельно ясны и точны. (Может быть, эта черта Севы и есть отличительная черта современной

молодежи?). Сева честен, трудолюбив, храбр, спокоен, бескомпромиссен. Он нежен к отцу и матери, на первые заработанные деньги —

«Сева купил отцу набор заграничных гуашей (где достал?), мне нейлоновую кофточку и себе башмаки с коньками».

Но в его сыновней нежности чувствуется, что он сознает слабости родителей — слабости «художественной интеллигенции», как он называет отца и мать. Читатель понимает, что сын вырастет энергичнее, мужественнее и решительнее своих родителей. Сева даже к Ковалеву старшему и Ковалеву младшему снисходителен и словно понимает, что не в них дело. Когда Ковалев-сын начинает, по примеру отца, цинично рассуждать, Сева говорит:

«— Такая привычка: как что-нибудь хорошее — обязательно гадость сказать. **Чтоб мужественнее выглядеть**». (Подчеркнуто мной — ВЖ).

Севу и его соучеников тянет к дяде Мише. Старый рабочий, в прошлом революционер, становится для ребят духовным отцом. Отец Севы старается не вмешиваться в дела сына, считая, что тот найдет дорогу сам, а мать, «когда не знает, что ему сказать, говорит сыну: «Спи!». Дядя Миша находит иные ответы на вопросы Севы.

«Сева в спорах все чаще ссылается на Михаила Ивановича: А вот дядя Миша говорит!..»

О чем говорит старый рабочий учащейся молодежи? В рассказе об этом сказано глухо: о революционных боях, о революционерах, но, видимо, это и влечет к нему молодежь. Ребята разные:

«Когда к Севе по вечерам приходят ребята, мы иногда поем. Вначале у нас это не получалось. **Ребята не знали ни одной песни до конца да и вообще они знали совершенно разные песни** (подчеркнуто мной — ВЖ). Люба знала только репертуар Вертинского, Катя только песни из кинофильмов, Юра — неаполитанские (репертуар Александровича), а Володя Ковалев — Лещенко. (Отметим, что никто из ребят не знал официальных партийных песен!)».

Но всех их объединил дядя Миша:

«На наше счастье, к нам как-то зашел Михаил Иванович. У него хороший бас, он любит песни и знает их великое множество... Он спел ребятам „Дубинушку” и „Как дело измены, как совесть тирана!”...»

Читатель не может не уловить символичности этих песен дяди Миши. Дальше символичность сгущается предельно:

«Теперь мы поем эти песни и многие другие. И **„Выхожу один я на дорогу”, и „Буря мглою”, и „Смело, товарищи, в ногу”**» (подчеркнуто мной — ВЖ).

Сочетание этих песен для советского читателя — это целая программа действия, не уступающая по смыслу программе дудинцевского Лопаткина: «Выхожу один я на дорогу» — не бойся действовать в одиночку; «Буря мглою...» — не бойся «бесов», которые мутят над родной страной, стараясь сбить с пути истинного человека; и наконец, «Смело, товарищи, в ногу!» — смело в ногу, чтобы грудью проложить себе дорогу «в царство труда и свободы!»... Именно поэтому тянется советская молодежь к дядям Мишам, к традициям, к опыту революционного движения. Не случайно такое большое значение имело для венгерских и польских комсомольцев изучение в школе и институтах революционного прошлого России.

Живет в «квартире № 13» учительница — студентка Нурия. Автор называет ее татаркой, но читателю иногда кажется, что Нурия некий обобщенный образ национальных меньшинств в СССР:

«Она сирота... У них была большая семья. Они жили в соседнем дворе, но во время войны их дом разбомбило и вся семья погибла».

Что это за «большая семья»? Не те ли советские республики, которые уничтожила или ополовинила партийная диктатура в годы войны? Сестра Нурии тоже уцелела, но живет в Удмуртии:

«Ей всего двадцать девять лет, она уже поблекла, кажется сухой, резковатой... Наверно, сказалась трудная жизнь».

Жил в квартире недолгое время деревенский парень Семен — выпускник сельской десятилетки. Он приехал из колхоза — хотел поступить в институт. Вначале жил в комнате Поповых, затем —

«Сева перетащил Семена жить к нам. Меня они поместили за занавеску, а сами расположились в комнате...»

О себе Семен рассказывает так:

«— Отец мой погиб на фронте, а мать совсем старая. Я с десяти лет в колхозе работаю, и все равно наша изба самая плохая на селе... Семен любил и ненавидел свое село».

Жильцы Семену помогали, чем и как могли:

«В тот день, когда Семен сдает экзамены, у Ксении Васильевны так и сыпятся кастрюли из рук. Таких ругательств наша квартира еще не слышала».

Семен сдал все устные экзамены на пятерки, но письменный — на тройку, и его в институт не приняли. И пришлось Семену возвращаться в немилый колхоз. Доволен один Ковалев: «Должен же кто-то и землю пахать!» — говорит он о Семене. Разве не так же поступает с выпускниками Хрущев?

Останавливается в квартире и колхозница старшего поколения — Марфа Трофимовна. Из ее рассказов о своей судьбе читатель видит — чем держится советская деревня: той же человечностью людей друг к

другу в общей беде, той же жалостливостью, то-есть тем же, чем держатся жители пролетарской части «квартиры». Марфа Трофимовна рассказывает о себе, о муже — о семье:

«Он ушел (на фронт — ВЖ), я осталась с тремя детьми да сестру учила, сама пятая осталась. И пережитков сколько! Всю жизнь переживаешь!.. А когда она (сестра — ВЖ) училась, на квартире в районе жила, я ей все старалась собрать посылочку... Я раз говорю: „Костя, Зина-то, небось, голодная, головка у ней болит, а ей учиться надо...“ Он: „Ладно, мать!“ И как помололи хлеб на мельнице, мешок на телегу и не заезжая домой, поехали... А дорогу-то развезло, мы в болоте-то и провалились. Целую ночь выбирались, страху было, чуть там не остались, право! Приехали, ан ее хозяйка ахнула: „Да как же вы проехали! Дороги-то нет!“ А Зина ручьем разливалась, плакала. У ней хлеб весь вышел, ну хозяйка кормила, такая женщина хорошая».

По признаку этой народной жалости, по принадлежности к этой взаимной поддержке человека человеком жильцы квартиры приняли Марфу Трофимовну в свой круг, как родную. Этим и держится советский народ. Эта национальная черта «народной пожалети» родилась не сегодня, а где-то в глубине исторического лихолетья — в столетиях татарского ига, в смутные времена, в годы крепостничества.

Появляется в квартире и инженер Яков Аркадьевич, чья жена — дочь Поповых — погубила себя искусственным абортom, на который она пошла, чтобы не расставаться с мужем, когда его отправляли на дальний Север на работу. Тут же на квартире зарождается его любовь к сестре писательницы — медичке Лиде, день и ночь пропадающей в больнице. И опять же простой человек принимает это по-человечески — та же Ксения Васильевна старается деликатно помочь новой любви своего зятя, отца внука Егорки,

Есть в рассказе и молодой рабочий — маляр. Разница между ним — новым, советским поколением рабочих и дядей Мишей — старым рабочим — поразительная. Читатель видит, как разлагает рабочего человека «рабоче-крестьянская» власть ковалевых.

«Его прислал управдом побелить потолок на кухне. Он затер трещины и ушел, оставив ведро и свои инструменты. Через день он пришел, забрал ведро и снова ушел... Так продолжалось несколько дней. Маляр приходил на полчаса, что-то делал и тут же уходил, не забыв напомнить, что „если придет управдом, сказать, что он у нас работает!“».

Наконец ему попало от жильцов, и он принялся белить, но делал работу небрежно — «и так сойдет». Сева стал стыдить его: «халтурщик проклятый! Только позоришь рабочих!» Молодой рабочий огрызается: «А ты попробовал бы ишачить!» Но у читателя нет антипатии к молодому рабочему — читатель понимает, что «ишачить» по высоким нормам нет никакого интереса, а «халтурит» он потому, чтобы жить. Да и достоинства рабочего человека он не совсем утратил: на циничное замечание Ковалева-младшего о «поллитре» парень обозлился:

«— Тоже фрукт. „Дай, говорит, на поллитра”. Думает, все купить можно!»

Тихой и незаметной жилицей «квартиры № 13» описана Зоя Ивановна, чей муж был арестован семнадцать лет тому назад:

«Ей лет пятьдесят..., у нее увядшее, но еще миловидное лицо, на котором застыло выражение испуга. Голос у нее тихий и очень нежный».

Зоя Ивановна больна, работает для артели инвалидов: делает матерчатые цветы, хотя в совершенстве знает европейские языки. Мастерит свои цветы она на кухне.

«Норма очень высока, и Зоя Ивановна всегда боится, что не выполнит ее, тогда могут исключить из артели».

Ей помогают соседи — Ксения Васильевна, писательница, Сева, жена Ковалева; дядя Миша изготовил для нее нехитрые приспособления. Зоя Ивановна тоже, чем может, помогает соседям — учит Севу английскому языку.

В самом конце рассказа появляется в квартире муж Зои Ивановны:

«Приехал муж, он был репрессирован. Зоя Ивановна даже не знала, жив ли он, и вот вернулся через семнадцать лет».

Бывший зека руки своей Ковалеву не подал, а к остальным соседям отнесся иначе: «Слышал о вас, — сказал он мне, — пишет писательница, — крепко тряхнул руку и тише добавил: — Спасибо».

Когда Ковалев говорит в коридоре Зое Ивановне, что ей с мужем надо «на отдых», забитая, запуганная женщина преображается:

«Нет! Мой муж отдыхать не собирается. **Нам отдыхать рано! Еще сделаны не все дела**». (Подчеркнуто мной — ВЖ).

Слова эти дают читателю как бы картину продолжения «маленькой повести» о квартире № 13.

## Колхозная деревня

Советская литература рассматриваемого периода почти наполовину состоит из произведений на колхозные темы. В этих произведениях бросается в глаза отсутствие человека деревни — ее основного жителя-крестьянина. Обычно герои «сельскохозяйственных» произведений — инструкторы и секретари райкомов, председатели колхозов, агрономы и другие представители правящей верхушки колхозного села. Крестьяне играют роль массы, фона — и в этом разительное отличие колхозной литературы от произведений о деревенской жизни дореволюционной русской литературы. Там в центре творческого внимания писателя всегда был человек, его внутренний мир, его судьба. В центре же внимания советской литературы на колхозные темы — сельскохозяйственная политика партии. Вот почему ее нельзя назвать сельской литературой — она «сельскохозяйственная». Не случайно абсолютное большинство произведений на колхозные темы написаны в форме художественного очерка.

Но если в произведениях на колхозные темы мало человеческого, то критицизма в них довольно много.

Отметим, что критицизм последнего периода советской литературы начался именно в произведениях о колхозной деревне задолго до 1956 года. И начался, при этом, с прямого разрешения первого секретаря ЦК Хрущева. Еще на Сентябрьском Пленуме ЦК 1953 года Хрущев решил признать тяжелое положение сельского хозяйства страны. Писатель Дорофеев писал, что после этого Пленума среди пишущих на колхозные темы было «не мало растерявшихся: как же писать в дальнейшем, чтобы идти в ногу с действительностью, не лакируя ее?». Попросту говоря, писатели не сразу поверили партруководству и остерегались писать о действительном положении в колхозной деревне.

В конце 1955 года в Москве была устроена большая конференция литераторов, пишущих на колхозные темы, на которой партийное руководство дало понять, что оно решило отказаться от ура-победного тона в «сельскохозяйственной» литературе. Ура-победный, лакированный тон в художественных произведениях никого не обманывал, а только вызывал в людях раздражение (например, в романе «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского и даже в романе Г. Николаевой «Жатва»). Об этом пишет Ф. Бучнева в «Гжатских встречах» (журнал «Знамя» № 9, 1956 г.):

«— Колхозники здешние смеются: нам теперь никакая зима не страшна. Понтарский в своей статье уже животноводческий городок построил.

— Построил! Он и свиначник там же построил, а нынче сорок порсят у него подохло от холода и от голода.

Хрущевская политика началась с признания тяжелого положения в сельском хозяйстве, писателям разрешили делать то же самое, но строго в соответствии с политическим курсом партруководства. Это означало писать о плохом, «не теряя перспективы», сваливая все плохое на «ошибки прошлого», на злоупотребления и недомыслие местных властей. Но вышло так, что критицизм скоро перерос разрешенные рамки — в конце 1956 года появились такие произведения, как рассказы А. Яшина «Рычаги», Ю. Нагибина «Хазарский орнамент», Ник. Жданова «Поездка на родину». В других же произведениях на колхозные темы читатель отбрасывал хрущевскую «перспективу», а из критических мест делал свои выводы. Выводы эти свелись к тому, что причина всех бед на селе — искусственный, ради партийной выгоды, отрыв крестьянина от земли, от своего хозяйства.

Что же увидел читатель в произведениях о колхозной деревне, напечатанных в 1956-57 гг.?

Прежде всего **низкую продуктивность колхозного труда**. В рассказе С. Кружилина «Жизнь сызнова» («Наш современник» № 1, 1956 г.) читаем:

«— Сколько вы надоили молока за этот месяц?

— Кто его знает. Думаю, от одной хорошей козы больше б надоила. . . По три литра в день надаиваю — и то хорошо».

В очерке «Начало» Н. Сергиевича («Наш современник» № 3, 1956 г.) колхозница пишет в Минск:

«И еще пишу тебе, браток, что с каждым днем наш колхоз идет все вниз. Коровы отелились, а телята сдохли. Если бы только видел, какие стали свиньи — как щенки. Кажется, больше похожи на крыс, чем на свиней!

Так писала мне родная сестра из колхоза на Slutchine. На дворе был уже март. Из окна пятиэтажного дома на окраине Минска виднелась открытая, обнаженная солнцем черная грудь земли. Вот-вот хлынет весна. Но что она принесет моим землякам? Неужели снова, как все последние годы — граммы зерна и копейки на трудодни? Я спросил себя: почему же перестала земля платить человеку за его труд?»

Автор приводит годовой баланс колхоза:

«Надоеено от коровы 700 литров молока. Откормлено 2 центнера свинины на каждые сто гектаров пахотной земли. Килограмм свиного сала обошелся в 50 рублей, каждое яйцо — в 18 рублей».

С июля по октябрь 1956-го г. в журнале «Нева» печатался новый роман Николая Вирты «Крутые горы». Вот что пишет Н. Вирта:

«— Колхоз выполнял хлебозаготовки, платил со скрипом МТС, закладывая семенные и другие фонды. . . А что оставалось для оплаты труда колхозников?

— Гроши, Матвей Иванович! А ведь так из года в год... Триста грамм зерна и полтину денег на трудодень».

В очерке И. Аграновского «Смелый и трезвый расчет» («Знамя», № 5, 1956 г.) подробно разбирается производительность труда колхозников:

«На трудодень вышло по 200 граммов зерна и по 1,6 копейки деньгами... Килограмм шерсти обходился в три раза дороже, чем за него выручает колхоз... Известно, что для получения килограмма масла требуется 22 килограмма молока... Продав даже не по рыночным, а по государственным закупочным ценам 22 литра молока, колхозник выручает 40 рублей. Килограмм же масла в магазине не стоит и 30 рублей, хотя для того, чтобы получить масло из молока, надо еще затратить труд — сбить его. Мудрено ли, что некоторые колхозники покупают в магазинах масло и сдают его... в счет молокопоставок! А несоответствие в ценах между маслом и мясом? Чтобы выпойить бычка весом 100-150 килограммов, нужно затратить не менее 400 литров молока. За такое количество молока колхоз получает по закупочным ценам более 700 рублей, а за бычка всего лишь 450-600 рублей».

В рассказе А. Белявского (альманах «Литературная Москва», № 1) председатель колхоза говорит:

«Два года назад наш колхоз получил только один центнер с гектара, а в 1954-м году — около двух».

В рассказе «Поездка на родину» Ник. Жданова («Литературная Москва» № 2) старик-колхозник говорит о колхозной жизни:

«— Урожаи низкие, доход ничтожный, трудятся люди неохотно, едят плохо.

— Почему же так?

— Бесплатно работать никто не хочет».

Почти во всех «колхозных» произведениях явно проступает **неистребимая тяга крестьянина к своему собственному хозяйству**. У С. Кружилина колхозница угощает обедом секретаря райкома:

«— Вы ешьте, не стесняйтесь!

— Даже не верится, судя по колхозу.

— Да разве все это из колхоза?! Она! Этот год и урожай средний — а что дали? По полкило хлеба да по полтине денег. Если б жить только тем, что на трудодни, — ели бы одну картошку. Слава Богу, огородишко кормит... С него, с огорода, и живем. Корову, овец, кур держим. Свинку на неделе только зарезали. Часть продали».

В рассказе «Без земли» С. Воронина («Нева» № 7, 1956) крестьянин думает о колхозной земле:

«А чего ее помнить, если она не кормила? Трудов-то немало и он положил на нее, а что проку? Полтину деньгами да триста граммов хлеба, вот и весь трудодень. Проживи-ка с тремя ребятами. А жить надо».

Секретарь райкома, осматривая собственное хозяйство колхозника, замечает:

«Виден был не только сам дом — большой, пятистенный, но и обширный двор, крытый тесом... На всем хозяйстве лежал особый отпечаток аккуратности и достатка... Контраст между положением на колхозном базу и порядком здесь был так велик, что Хапров не удержался и заметил об этом Трапезникову.

— Люблю в хозяйстве повозиться, — простодушно признался тот».

Юрий Яновский в рассказе «Мир» («Знамя» № 5, 1956) описывает, о чем тоскует крестьянская душа колхозника:

«Ходит ли, скажем, баба либо мужик на колхозную конюшню или ферму, чтобы погладить прежнюю свою скотину, дать ей корочку хлеба с солью, почесать за ухом? Было это... Перешла ласка на кур в своей усадьбе, на поросенка, на крокодила — на что угодно — у кого что есть».

В рассказе «Без земли» С. Воронина описывается колхозник, у которого отняли его приусадебный участок:

«А-а! — глухо застонал Чикмарев, идя словно пьяный по лужам, по грязи. В этом стоне было и отчаяние, и обида, и злость, и тоска.

Земля! Самое дорогое, то, что держит, не отпускает в чужие края. Свой кусок. Маленький, но свой, на котором только он хозяин и никто больше. Земля, единственная земля, его собственная, на приусадебном участке. Он кормил ее, кормил, как живую. Ухаживал, как за девочкой. Ночами другой раз не спал, ворочался, все думал о ней...»

Впервые в советской литературе читатель увидел **колхозные порядки**, как они есть в действительности. Вот как описывает Н. Сергиевич эти порядки в действии:

«Колхозник жалуется: „Бык порвал цепь, убежал в стадо“... Говорю бухгалтеру:

— Выдай деньги Сладого на цепь.

Бухгалтер отрывается от своих бумаг, снимает очки и мне в ответ:

— Думаете, дать деньги в подотчет, это мелочь? Нет, нужен акт на списание старой цепи.

— Акт? Ну, пиши, я подпишу.

Бухгалтер снова спокойным тоном.

— Такой акт недействителен. Нужно, чтобы ревизионная комиссия осмотрела порванную цепь, составила акт и подписала его.

— Где же взять ревизионную комиссию, если два ее члена за тридцать километров на сенокосе, а третий — уехала с больными зубами к врачу.

— Значит, вы хотите итти по пути нарушения финансовой дисциплины. Нет, не могу позволить».

Николай Вирта в своем романе пишет:

«Колхозы были связаны по рукам и ногам и по своей воле почти ничего не могли делать. На каждый шаг — приказ. Что сеять, где сеять, сколько сеять — все планируют. Выгодна та или другая

культура или нет, того в расчет не брали: есть план, и молись на него».

Выполняя партийный приказ, Вирта старается изобразить, что так оно было в колхозах до хрущевского царствования, но А. Яшин в рассказе «Рыгачи» («Литературная Москва» № 2) показывает, что ничего по-сути не переменялось:

«— Я мужики, чего-то опять не понимаю, — говорит колхозник — инвалид войны. — Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправки. Видно, собрали все колхозные планы, сбалансировали, и вышло — с районным планом не сходится. Ну, а районный план дают сверху. Тут кумекать много тоже нельзя. Ну, и нашла коса на камень. Искры летят, а толку нет. От нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда!»

Старый колхозник в рассказе Ник. Жданова рассказывает:

«Податься некуда. Пока возили на элеватор да обмолачивали — и конопки урожай упустили и недожатое наполовину осыпалось. Ну, хлебозаготовки нам записали, верно, — в числе передовых. А сами опять без хлеба!»

Из того же рассказа читателю не трудно понять, что в колхозах идет повальное воровство — приходится охранять даже кузницу:

«— Сторож я теперь, а раньше кузнецом работал. По болезни в сторожах хожу. Тут же при кузне. Ее и караулю».

Без взятки даже зерна смолотить невозможно — об этом рассказывает А. Колосов в рассказе «На мельнице» («Наш современник» № 4, 1956):

«Приедет из Пестрянки или из Галютина человек, он понимает, что ему ждать помола три, а то четыре недели, так он первым делом что? Отзовет Пичугина или теперь Максимку сюда в теплячек и потихонечку, чтоб носа не подточил, предложит взяточку: «Прими уважаемый. Только смели, пожалуйста, не позже этой недели». Да и наши тоже... Кто с петухом, кто с тридцаткой».

Н. Сергеевич пишет:

«Пройти мимо стога — не взять вязочку сена или пройти мимо «плохо положенной доски» и не прихватить ее с собой — считалось за грех. Везет человек сено с болота — он еще там подготовит вязку сена на пуд — и обязательно сбросит возле своих ворот. Выбирают картофель — женщина в корзине самые лучшие клубни несет домой».

Картину страшной бесхозяйственности в колхозах дает Николай Вирта:

„Вдали на улице раздалось брэнчание ведра. Как только этот звук дошел до слуха коров, они разом подняли морды и наострили уши,

потом, как по команде, выбежали из стойл и галопом понеслись к воротам. Шерсть на холках вздыбилась, глаза налились кровью. Поставив хвосты свечкой, опрокидывая все на своем пути, коровы налетали друг на друга, бодались, лягались, сшибали слабых. В узком пространстве у ворот коровы вдруг остановились: ворота оказались закрытыми, кто-то подпер их снаружи колом. Бренчание ведер между тем слышалось все ближе, и тут начался хватаящий за душу рев. Такой же рев доносился из соседних помещений, он заполнял собой все, сотрясая воздух, раздирал уши. В коротких промежутках слышалось жалобное мычание телят, они бросались в общую кучу за матерями, их давили, мяли, били копытами и рогами... Наконец стадо навалилось всей громадой на ворота, они с грохотом упали, и коровы галопом, выгнув спины, взметая задними ногами, помчались к водопойным колодам.

— В чем дело? — спросила Анна Павловна. Она побелела от страха. Ее трясло.

— Да ничего особенного, — отмахнулся Степкин. — Цельный день, видать, не поены, да и вчера, не знаю, поили ли...

Коровы окружили сани, на которых стояли бочки с привезенной водой. Со всех ферм сбегались люди. Перепуганные диким видом животных, они безуспешно отгоняли коров от саней, а те, мыча и ревя, сгрудились вокруг бочек, и никакие угрозы не могли заставить их отступить... Как только вода полилась из бочек в колоды, они снова, давая друг друга, с жадным мычанием бросились к ним. Более сильные теснили слабых, рвались к воде первыми, слабые отчаянно сопротивлялись, бегали и кружились вокруг колод... Между ними металась телята, тоскливо мычали в ожидании своей очереди.

Долго пили коровы, стараясь нагрузить желудки водой. Воды не хватало, водовозы снова уехали за ней. С полсотни коров ринулись за ними, надеясь напиться там, где брали воду, а прочие вернулись на фермы к пустым кормушкам: сена и соломы не было, их еще должны были привезти".

Читая колхозные произведения, читатель невольно спрашивает: а где же пресловутая **механизация** сельского хозяйства? Где же сотни тысяч тракторов и все сельхозмашины, о которых газеты прожужжали уши? Вот что отвечают писатели: Юрий Яновский пишет в рассказе «Мир»:

«Загрохотали по разъезженной дороге тракторы. Первым шел Иван на своем великане «С-80». Бежали вслед бойкие «ДТ», бывалые «СТЗ»... На последнем, степкином «Универсале» тряслась с кастрюлями Пелагея...

Гудела молотилка, которую крутили четыре лошади, а во дворах гулко ухали цепи: колхозники торопились выполнить хлебопоставки государству... Из кузницы в степь направились два плуга, обслуживаемые женщинами, пахали еще на коровах..."

Сергей Антонов в «Литературной Москве» № 1 рассказывает, что на деревне тракторы появились, а обыкновенных вожжей не стало:

„Взять к примеру вожжи. Разве это вожжи? То были ременные, после сыромятные. Кончались сыромятные — стали веревочные давать. А теперь из какой-то бумаги делают вожжи”.

А. Белявский в том же альманахе пишет:

«Пришлось проводить половину уборки вручную, и мы затянули ее до октября... Если надо бензин, посылаю на дорогу кланчить у шоферов. Если надо запчасти, еду в Москву на Тишинский рынок и покупаю привезенные неизвестно откуда».

Новые сельхозмашины быстро выходят из строя, растаскиваются на запчасти, в МТС поступают ненужные машины. Об этом говорит Валентин Овечкин в «Трудной весне» («Новый мир» № 3, 1956 г.):

«МТС получила пять новеньких льнокомбайнов, хотя льна мы не сеем ни гектара... Принял в число прочего инвентаря двадцать конных жнеек... И следа от них не нашел. В «Коммунаре» только видел на поле колеса и раму от одной из жнеек... Из пяти новых зерновых комбайнов, полученных в прошлом году, два требуют уже капитального ремонта.»

У Николая Вирты колхозники смеются над сельской механизацией:

— «Механизация у нас известная — Крутогорской МТС кличется, а древлеинператорская соха посматривает на означенную механизацию и издевается: у меня, мол, один лемех и лошадиная сила во мне одна, а прибыль от земли тот же, ежели не лучше».

Советская пропаганда на все лады твердит об электрификации деревни, о новых миллиардах киловаттчасов, но из колхозных произведений проглядывает все та же керосиновая лампа. Так в рассказе «Туман» М. Зуева (Наш современник» №4, 1956) читаем:

«Темновато живет еще наша глубинка. Только в рассказах иных наших писателей электричество горит обязательно в каждом колхозе. Писать о колхозе без электричества считается просто неприличным. А у нас если и есть кое-где движки и микроскопические гидрушки, то освещают колхозную жизнь вполнакала, так и тех пока еще очень мало. А во многих и многих деревнях горит еще керосиновая семилинейка, с треснувшим и заклеенным бумагой «пузырем». А не подвезет сельпо керосину, и коптилка-масленка в ход идет. Тоскливая картина! Видимость самое большое в радиусе полметра, к потолку тянется витой шнурочек копоты, по углам шевелятся густые тени...»

Читая советские газеты, а иногда и статьи вернувшихся из СССР иностранцев, можно подумать, что для колхозной избы стали обычным — хорошая мебель, радиоаппарат, телевизор, стол полный всякой снеди. Советские же писатели дают совсем иную картину — картину **бедности** колхозной жизни. О жилищных условиях колхозников пишет В. Овечкин:

«Семья в шесть, семь душ живет в одной комнате. Тут и кухня, и спальня, тут и белье стирают, и моются в кадке, и школьники уроки учат... У коров водопровод. А колхозница, чтобы чаю согреть, должна итти по воду к колодцу... За полтора километра носят воду на плечах! Кому же лучше живется — коровам или колхозникам? Телятам или ребятам?... У животных условия жизни — применительно, конечно, к их потребностям — обставлены куда культурнее, чем у хо-

заяв этих животных — людей... Ведь все же мы на лошадях ездим, а не лошади на нас! Коровы для нас, а не мы для коров!».

Н. Сергеевич пишет:

«У людей редко бывал хлеб. Наступит утро, а женщины с корзинами идут в Слуцк на рынок. Туда несут десяток-два яиц, фунт масла — хотя ничего лишнего не было в доме, — а оттуда — пуд печеного хлеба».

Характерен и рассказ Юрия Нагибина «Хазарский орнамент» («Литературная Москва» № 2):

« — Живем мы на самом стыке Московии и Рязанщины, а вот сколько, по-вашему, письмо от нас до Москвы идет?

— Не знаю, на второй день должно придти...

— Верно, что должно... Если здесь в ящик бросишь, то, дай Боже, на восьмой, на девятый день придет. Тоже и к нам: считай, ден с десяток...

Под боком у Москвы. А спросите, кто тут у нас бывал в Москве? О бабах и говорить нечего, а из мужиков, может, и наберется человека два-три. Да что в Москве — в Рязани мало кто бывал...

У нас копилки, у нас на три деревни у одного Подсвятьинского Анатолия Михайловича — может, слышали — радио имеется. Так он, кроме последних известий, ничего не слушает, батарейки бережет».

А. Яшин дает описание дома правления колхоза:

«В правлении колхоза, как всегда, горела керосиновая лампа и потрескивал батарейный радиоприемник».

У Ник. Жданова колхозник рассказывает о бедности на селе:

«Своего хлеба у нас дольше, как до весны, не хватает, так в Лапшино ходим, в сельпо. А то которые и в город ездют».

О безрадостной жизни советской деревни говорит М. Алигер в стихотворении «Деревня Кукой»:

**«В сорок первом, когда наступали враги,  
проводила деревня от милой тайги  
взвод отцов и мужей, взвод сибирских солдат.  
Ни один не вернулся назад...**

**Молодые ребята, едва подросли,  
на большие сибирские стройки ушли.  
Не играют тут свадеб, не родят детей...**

**Жизнь без всяких прикрас, безо всяких затей.  
Ранним-рано кукуевцы гасят огонь,  
никогда не играет в Кукое гармонь,  
ни вечерки какой, ни гуляния нет.  
Только вдовья кручина — считай сколько лет».**

Особенно тяжела доля советской колхозницы — почти все сельское хозяйство лежит на плечах женщин. Н. Вирта в своем романе «Крутые горы» пишет:

— «Черт! Заткнешь одну дыру, рядом — другая... Хотя бы наши бабы побольше рожали.

— Да и ведь тут задачка: у нас в селе на пять баб один мужик...

Печальное зрелище представляли собой вечерние гульбища молодежи. Гармонист, два-три паренька и толпа девушек, тоскующих по любви, замужеству, своему дому и детям... А мужей нет, а когда они подрастут, девушки превратятся в старых дев. Каждый парень идет на вес золота... Охо-хо!»

То же самое подтверждает Ник. Жданов в «Поездке на родину»:

«В колхозе бабы одни, бьемся, бьемся, а все больше зря».

В чем же видит читатель причину упадка и разорения деревни? Читатель знает, что колхозной деревней, как и всем СССР, распоряжается партия, **партийное руководство**. Вот как описывают советские писатели это руководство: С. Кружилин пишет о сельских коммунистах:

«Вот список коммунистов вашей парторганизации. Вас пятнадцать человек. А кто из вас непосредственно связан с колхозным производством? Только трое... А остальные? Остальные «завы». Секретарь партбюро какой год заведует гаражом. А что это за гараж?.. В гараже всего лишь две машины».

В. Овечкин в «Трудной весне» рассказывает о том, что колхозная система породила партийных бездельников — «праздношатающихся коммунистов»:

«В колхозе «Рассвет» четыре бывших председателя колхоза... Слыжуются по селу без дела, ожидают, когда подвернется еще какая-нибудь должность, хотя бы экспедитора в сельпо или заведующего паркомом... Секретарь парторганизации заведует молочносливным пунктом. Обсчитывает колхозников на процентах жирности молока».

Поведение колхозников-коммунистов лишь следствие партийного руководства сверху. Об этом пишет Н. Вирта:

«У нас, дорогие товарищи, чересчур много над колхозами начальства. В районе над председателем человек тридцать, а в области сотня наберется... И не в том грех, что их много, а что каждый норовит обучать тебя, как хозяйствовать, сам иной раз в хозяйстве еле-еле смысла. Сей, мол, тогда-то обязательно то-то, а не будет, как директиву дали, — вздрючим по первое число».

Вот что говорят герои рассказа Нагибина «Хазарский орнамент» о хрущевском укрупнении колхозов:

«У нас тут колхоз укрупнили, да вот укрупнение это — одна только видимость... Как укрупнили, так все и расплозлось...

— Что же, у вас никто не бывает из района?

— Как же, приезжали инструктора с райкома, случалось. Да ведь как приезжали! Один заявится в разгар охоты, другой под рыбу угонит, народ, конечно, в расходе. Пошебуршит он с председателем — и драла назад».

Уничтожающую критику партийного руководства на селе дает А. Яшин в рассказе «Рычаги». Вот описание секретаря райкома:

«Ведь знает, что получаем в колхозе по сто граммов на трудодень, а твердит одно: с каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние. Коров в нашем колхозе не стало, а он: с каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство».

Сельские партийцы-колхозники отлично понимают бессмысленность партруководства: в рассказе Яшина они, поговорив по-душам, переходят к «деловой» части:

«О делах потом, — оборвал Ципьшев, — сейчас собрание проводить надо. Райком требует, чтобы в месяц два собрания было, а мы и одного сговориться запротоколировать не можем. Как отчитываться будем? . . В прениях выступали и Акулина Семеновна, и Щукин, и Коноплев. Расхождений во мнениях не обнаружилось, как не было их и во время той дружеской беседы до начала партийного собрания; правда, сейчас согласованность и единодушие проявлялись несколько в ином, можно сказать, в обратном значении».

Почти все писатели, пишущие на колхозные темы, выводят в своих произведениях **новых председателей колхозов**, посланных в деревни партийных и хозяйственных работников — горожан. И хотя писатели подают их, как некую панацею от всех бед, но читатель чаще видит совсем иное. Так А. Колосов в рассказе «На мельнице» пишет, что говорят колхозники о новом председателе:

«Принесла нелегкая этого дуrolома, и все пошло, поехало. Прыгает, носится, задыхается, и что он знает о колхозе! Ботву видит, а что под ботвой — репа ли, картошка ли — ему не до этого».

У А. Белявского новый председатель колхоза рассказывает:

«Ведь я был так же далек от сельского хозяйства, как от астрономии, не отличал ячменя от пшеницы, смутно представлял себе, что такое сев и уборка, не знал ни одного вида работ на фермах и в поле. Любая деревенская девушка была осведомленнее меня — седого и плечистого дяди, приехавшего руководить».

У В. Овечкина рассказывается о новом главном инженеру МТС, которого колхозники прозвали «зябликом» за то, что сказал «зябликовая пахота». Колхозники издеваются над новым начальством. Вновь назначенный главный инженер МТС, стараясь избежать насмешек крестьян, роется в справочниках в тщетных попытках найти описание «яловой» породы коров, по ночам звонит в город жене, спрашивая совета:

«Правда, что куры могут нести яйца и без петухов? Не разыгрывают меня колхозники?»

Не мудрено, что городские коммунисты всеми путями стараются избежать направления на работу в деревню. Тот же Овечкин рассказывает:

«Направленный в Семидубовскую МТС главным инженером коммунист Чумаков, бывший заместитель директора одного крупного воронежского завода... жаловался на болезни, на неустойчивость семьи... Написал даже в автобиографии: «С 1949 года страдаю геморроем в тяжелой форме.»

У Юрия Нагибина в «Хазарском орнаменте» старик-колхозник рассказывает о чехарде председателей в колхозе:

«В район назначили к нам одного человека, конторой связи завывал. Он уперся — ни в какую. Иди, говорят ему, в председатели или клади партийный билет на стол. Он подумал-подумал и решил: чем сперва мучиться, а потом билет отдать, так лучше уж сразу. И положил билет. Тогда за другого взялись: он недавно из Москвы... Он и говорит: я уж под это дело с Москвой расстался, хватит с меня. Тут и вывернулась эта Дунька. Она в военной санатории уборщицей работала... кандидат в партию...»

— Ну, и как она?

— Чего как: Дунька — она Дунька и есть. Зарплату получает.

— Зачем же вы ее выбирали?

— Чего? — не понял дед. — А как не выбирать? Не ее, так кого другого, еще почище, навяжут».

Из литературных произведений видно, что председателей колхозов выбирают не колхозники, как об этом сказано в «Уставе сельхозартели», а назначают партийные комитеты. При этом назначают прежде всего для того, чтобы нарушить взаимную поддержку среди колхозников в их борьбе против партийной политики. Николай Вирта пишет:

«Неужели в такой громадной области в таком большом районе не найдется одного дельного человека к нам в председатели? Из своих не желаем, хватит. **Тотчас начнется кумовство...**»

Но из того же романа Вирты видно, что колхозники не хотят председателей со стороны, а хотят из своих же, деревенских.

Новый председатель колхоза в очерке А. Белявского объясняет это так:

«Угнетало другое — неприязнь, с которой отнеслись ко мне... Приехав, я сразу почувствовал вокруг себя холодок, почувствовал, что за моей спиной шепчутся, что мой приезд этим людям не нравится, мешает им.»

Писательница Галина Николаева в своих записках «За один год», напечатанных в том же номере журнала «Знамя», пишет о **сопротивлении колхозников**:

«Тридцатитысячник Дубов из Мценского района рассказывал о том, как ущемленные расхитители портили грузовики, засыпали опилки в машины колхозной электростанции, чтобы вызвать аварию, грозили убить и избить честных колхозников, затевали драки... Председателя соседнего колхоза А. И. Алексееву... засыпали угрозами, анонимными письмами. Ее помощнику, бригадиру Грозову, проломили голову. О множестве подобных острых столкновений расскажут в любом районе».

О сопротивлении колхозников пишет и упомянутый Н. Сергиевич. Он рассказывает об угрожающих письмах колхозников новому председателю:

«Там было написано: Ты зачем приехал в нашу деревню? Тебе что — надоело жить в городе? Не думай, что ты умнее всех. Афанасьев, Одериха, Шевчик имели дело с хозяйством, и то у них ничего не вышло. А если ты шляпу сбросил и надел фуфайку, то думаешь, что подделался под нас?.. Люди вот что про тебя говорят: «Хочет прибрать нас к рукам, но мы не лопухие дураки! На сенокос мы не поедем и ничего ты не сделаешь с нами. Ям нарыл и цементируют их дураки. Там гроб тебе будет! Свиначник строишь — все равно свиньи подойдут... Лучше, пока не поздно, бери свою шляпу и удирай скорее в Минск».

Автор сам подтверждает, что такие письма не одиночны:

«Почтальон принес мне сразу две новые анонимки».

Хотя писатели изображают активное сопротивление колхозников, как сопротивление «бездельников», «жуликов», «пьяниц», но читатель видит, что дело обстоит совсем иначе. Вот что говорит старый колхозник в рассказе «Скрипун» Тихона Журавлева («Наш современник» № 3, 1956):

— «Норму дали такую — на кусок хлеба не заработаешь. Надо пахать галопом. А тут еще и перепаживать выдумали — да этак и без штанов останешься».

Н. Сергиевич пишет:

«Чтобы ты сказал, если бы месяц работал, а пришел в кассу и тебе вдруг: «Извините, пожалуйста, денег нет. Но старайтесь, работайте, получите в следующем месяце»? А у нас так и получается: год печешься на солнце, приходит осень, а Значинский говорит: «Ничего не получишь. Но старайся, работай, в следующем году дадим»».

Н. Сергиевич описывает пассивное сопротивление колхозников:

«Куда бы ни шла машина, обязательно найдутся для нее пассажиры. Сколько раз приходилось стыдить: «Грешно в рабочий день разъезжать...» Сидят себе, и слова от них отскакивают, как горох от стены. Однажды прихожу на выгон — машина готовится за дровами в лес. В кузове сидят семь женщин.

— Куда?

— В Старобин, — отвечают все вместе.

— Зачем?

Одна петуха хочет продать, а то, мол, он ходит по чужим дворам. Другая — побывать у родственников — давно не была, заскучала. Третья за тем, чтобы купить материалу сыну на рубашку».

Читателю ясно: не хочет колхозник работать на чужого, государственного дядю — нет для крестьянина в колхозе ни материального интереса, ни душевного.

«Кто это там в окошко стучит? Бригадир на работу, никак, зовет? Да ну его! Лезь на полаты, ребята!» — говорят колхозники в романе Н. Вирты. — Что делать колхознику? Либо копайся на своем приусадебном участке, с которого он еще мог кое-что получить для жизни, или бросай хозяйство и уходи в город искать работу... Да, уходили... Матвей Иванович наблюдал, как укорачивались иные деревни, как все больше становилось в селах изб с наглухо забитыми окнами и дверями.

Старый крестьянин в рассказе «Жизнь сызнова» С. Кружилина объясняет причину разрухи деревенской:

«Поведет Хапров разговор, скажем, об упадке в хозяйстве: отчего он, по какой причине, где пути к подъему? Старик слушает, слушает и — вдруг: «Известно откуда он — упадок-то! От земли. Тоща — матушка — стала. Бывало, каждый на свою десятину, считай, по сорока возов навоза-то вывозил. А сейчас? Спроси любого: хоть один воз за десять лет вывезли? То-то!» Или еще: «Как же ему не быть, упадку-то? Коня забыли. Ведь, бывало, по чему судили о хозяйстве — по лошади. А сейчас? Вы видели наших — разве это лошади?»

К чему бы ни сводили свои произведения писатели, но правда об **отношении крестьянина к колхозу** проступает сквозь хрущевские «горизонты». Даже опытный литературный исполнитель партийных заказов Николай Вирта не может этого скрыть. В сцене колхозного собрания в романе «Крутые горы» Вирта описывает разговор старого крестьянина с новым председателем колхоза:

— «А слово мое будет такое, председатель, что наш народ веру в колхоз потерял...

— Не верю я, чтобы весь народ так думал, как ты, Никита Сергеевич.

— А я думаю! Прорыху не стало!»

В другом месте тот же крестьянин говорит о своем отношении к новой партийной политике. На уверение, что — «теперь брат, ... важнейшие партийные решения, понял? И дальше оно пойдет на другой манер», — он отвечает: «— Мало ли было всяких решений! Бумага — она все терпит».

Об отношении крестьянства к колхозу лучше всего говорит одна сценка в рассказе С. Кружилина «Жизнь сызнова»:

«Старик хотел, видимо, что-то возразить, но, посмотрев на машину («Из райкома, поди»), принялся поднимать с наста солому, укладывая ее на воз. У него не оказалось ни вил, ни граблей. Воз к тому же не был увязан.

— Кто же едет за соломой без вил и веревки? — вырвалось у Хапрова.

— Э-э, дорогой начальник! — неохотно отозвался старик. — А где их взять-то? Хорошо хоть повозка досталась с вожжами...

— Ты и в доме обходишься без вил?

— В доме? Ты в моем доме не был. Побывай — узнаешь... У других, может, и есть, но народ так смотрит: дом — это одно, а колхоз другое...

— Так ведь и то, и другое — ваше!

Старик усмехнулся:

— **Что дома — то мое, а что в колхозе — то наше...** Вот в чем **разница**. (Подчеркнуто мной — ВЖ).

Чем же объяснить такую откровенную критику положения в колхозах? Чем объяснить, что критику эту разрешил никто-иной, как сам Хрущев? Все дело в Хрущевских «горизонтах», которые видны в «сельскохозяйственных» произведениях.

На этих «горизонтах» явно вырисовывается **совхозная система**, которая должна сменить обанкротившуюся колхозную систему. Обанкротилась она прежде всего потому, что крестьяне упорно не хотят работать в колхозе. Их тянет к своему хозяйству, к своему дому. Произведения советской литературы последнего периода есть ничто иное, как признание несостоятельности колхозной системы — признание завуалированное по политическим и хозяйственным причинам\*).

В Польше, Китае, Югославии и других странах под властью коммунистических режимов партийная власть вынуждена разрешить крестьянам выходить из колхозов, потому что для замены колхозной системы совхозной там нет достаточной для этого индустриальной базы, и нет «совхозного» опыта (отметим, что в индустриальной Чехословакии и Восточной Германии колхозы сохраняются).

В СССР немедленному переходу к совхозной системе мешают прежде всего низкие доходы колхозов: власть не имеет таких огромных средств, чтобы перевести на зарплату за счет государственного фонда зарплаты десятки миллионов колхозников. Поэтому теперешняя хрущевская политика на селе направлена на поднятие доходности колхозов, на **постепенный** переход колхозников на денежную оплату.

Именно это и видно в произведениях на колхозные темы. Вот что пишет В. Овечкин в «Трудной весне» («Новый мир» №№ 3, 5 и 9, 1956 г.):

«Упала материальная заинтересованность колхозников в общественном труде — вот тут-то и надо применить ежемесячное авансирование...

Мы совсем забыли простое, благородное слово: «купил». Только и слышно: «достал», «добыл», «вырвал», «отхватил»...

Мы наложили на систему организации и оплаты труда колхозников столько латок, что под ними уже не видно самой системы, как, бывает, под заплатами на зипуне не видно того основного материала, из которого сшит зипун... Надо отодрать все латки и посмотреть, осталось ли под ними еще что-нибудь от самого зипуна. Или, может быть, надо **весь зипун шить заново?**» (подчеркнуто мной — В. Ж.).

Вместе с критикой колхозной жизни советская «сельскохозяйственная» литература пишет об ежемесячном финансировании колхозников, о денежной оплате, о преимуществах положения рабочего в сравнении с колхозником (об оплаченном отпуске, о пенсиях старикам,

---

\*) Отмена МТС, объявленная в январе 1958 г., есть ни что иное, как подготовка к переходу к совхозной системе.

о свободном времени после работы, о «культурной» жизни рабочего и т. п.), о бегстве колхозников в города, пишут и о хозяйственных преимуществах промышленной экономики. Из всего этого ясно, что литература психологически подготавливает страну к предстоящей замене колхозной системы совхозной, соблазняет колхозников положением рабочего. Из тех же литературных произведений видно, что колхозник готов выбрать из двух зол меньшее — люди из колхозов в города бегут при первой возможности, но видно и то, что крестьянская душа колхозника попрежнему лежит к отнятому у него собственному хозяйству.

## Молодежь

Что отличает современную советскую молодежь от прежней? То, что современная молодежь практически не знала сталинщины (иностранцы — участники Московского фестиваля молодежи рассказывают, что Сталин для нынешней советской молодежи — история).

При Сталине молодой человек с детства знал: стоило ему ослушаться власти, как он обрекал себя, в лучшем случае, на третьестепенную жизнь, и, наоборот, отказ от своих желаний молодости, слепое подчинение, пионерская, комсомольская, партийная активность автоматически обеспечивали ему хорошее положение в будущем. Подобные условия жизни и воспитали советского человека, о котором пишет Маргарита Алигер в стихотворении «Самое главное» («Октябрь» № 11, 1956 г.):

**«Он варит сталь и тешет камень,  
в степи возделывает сад.**

**Построены его руками  
Владивосток и Ленинград.**

**. . . . .  
Ведь это он разбил фашистов...  
Он не отступится от плана...»**

М. Алигер тут же предлагает читателю внимательно всмотреться в этого человека:

**«Соврет зачем-то ненароком,  
на мелком месте прихвастнет,  
потом сконфузится и боком  
обходной тропкой повернет.  
Взведет напраслину на друга,  
в сторонке переждет грозу,  
и жалкий огонек испуга  
запрыгает в его глазу...  
И ты увидишь человечка, —  
в груди стрекочет, как сверчок,  
обыкновенное сердечко  
величиною с кулачек...  
О, как он ростом невелик  
и как отчетливо не вечен.**

**. . . . .  
Он человечеству не нужен  
ничтожный этот человек.  
Неужто этот самый жалкий**

**растит хлеба и варит сталь?  
Неужто он?..»**

Но М. Алигер надеется, что придет время —

**«Он сам когда-нибудь откроет  
простой химический состав,  
который, действуя на веки  
чудесной силой кислоты,  
в красивом, сильном человеке  
убьет случайные черты,  
убьет в герое негодяя  
и в великане — подлеца».**

Советская литература 1956-57 г. дает немало характеров, подобных герою М. Алигер. Но в тех же литературных произведениях появился молодой человек, который занят тем, что «открывает» «простой химический состав»; молодой человек, который растет явно иным, чем выросли люди старших поколений; который иногда сознательно, а чаще эмоционально отталкивается от многого из того, что коверкало и все еще коверкает душу советского человека.

И это неслучайно: современная молодежь выросла в иной обстановке. Сегодняшний молодой человек не знал страшной коллективизации, не знал сталинского террора. Он родился незадолго до войны, рос во время войны — в годы, когда в СССР дышалось свободнее, когда люди не так боялись власти, а, наоборот, — власть побаивалась населения по той причине, что миллионы граждан сражались на фронте. Дети и подростки жили в обычной для военного времени атмосфере военной романтики. Вот как описывает это время Мих. Алексеев в повести «Наследники» («Нева», № 1, 1957 г.):

«Дети играли в войну, черпая вдохновение... большей частью в рассказах фронтовиков-инвалидов, которые нередко становились главными консультантами разыгрывавшихся ребячих баталий. И, как всегда это бывает, дети брали у войны и вообще у армии лишь их романтическую сторону, соответствующую детскому воображению. Будничная же сторона, а стало быть и самая тяжелая, неизбежно и начисто отбрасывалась».

Не трудно понять, что воспитывала «романтическая сторона»: смелость, независимость, желания новой, не обычной жизни. В оккупированных немцами областях дети и подростки ко всему этому еще видели гибель советской власти и страх представителей власти — вначале советской, затем немецкой, — это не могло не сказаться на отношении подрастающего поколения к власти и власть имущим.

После войны дети, подростки, юноши жили среди надежд взрослых на перемены, в атмосфере рассказов демобилизованных братьев, отцов об европейских странах. В быту появились заграничные вещи — мотоциклы, велосипеды, радиоприемники, одежда, обувь — на молодое воображение эти вещи действовали не меньше рассказов взрослых (все иностранцы — участники Московского фестиваля молодежи рассказывают о безудержном интересе советской молодежи всех возрастов к заграничным вещам).

Вскоре после войны в больших городах СССР появились студенты из стран Восточной Европы. Встречи, общение с ними усилили интерес к зарубежному, незнакомому миру, заставляли по-иному глядеть на советскую действительность.

Послевоенная сталинщина только усилила в молодежи чувство неудовлетворения тяжелой и серой действительностью. Из советской печати тех лет известно о появлении среди советской молодежи: «не-согласных» комсомольцев-«ленинцев», религиозно настроенной молодежи, «стиляг», хулиганов и т. д.

Потом умер Сталин. Партийная диктатура была вынуждена сильно ограничить власть органов насилия и террора — повзрослевшая молодежь стала чувствовать себя еще свободнее, еще независимей. Появились студенческие и школьные рукописные журналы, в которых так или иначе проявлялась оппозиционность молодежи к режиму. В Тбилиси — впервые за время существования советской власти — произошли студенческие беспорядки. События лета 1953-го года в Восточной Германии и октябрьские события 1956 года в Польше и Венгрии вызвали такую реакцию среди молодежи, особенно среди студенчества, что для успокоения студентов была брошена «тяжелая артиллерия» из членов и кандидатов Президиума ЦК. Об отношении советской молодежи к теперешней, хрущевской власти можно судить по одному, на первый взгляд незначительному, случаю, имевшему место на Московском фестивале. Случай этот к тому же показывает, насколько отличается нынешняя молодежь от прежней. Несколько иностранцев, среди которых был человек, в совершенстве владеющий русским языком, проходили мимо группы советских молодых людей — кто-то из советских громко, чтобы услышали иностранцы, сказал: «Наш мистер Кей — глуп!»

Перед тем, как говорить о современной молодежи в критической литературе 1956—1957 г., заметим, что молодежь эта оказывает сильное влияние на советских писателей. В Советском Союзе происходит нечто похожее на то, что происходило в коммунистической Венгрии до революции; то, о чем писал венгерский писатель — коммунист Дьюла Гай:

«Не я, — писал он, — способствовал пробуждению духа свободы у молодежи, наоборот, молодежь меня подтолкнула. На протяжении нескольких лет я читал лекции, беседовал со студентами, с молодыми рабочими, и у меня было такое чувство, что мои аргументы и объяснения не убеждали молодежь. Я начал говорить более свободно об излишествах бюрократизма, об отклонениях от социализма... и чем более критически я высказывался, тем больше я чувствовал, как меня поднимала волна симпатии, идущая от молодежи».

То же самое по сути началось и в СССР: когда писатели стали говорить «более свободно», «более критически», — симпатии молодежи оказались на их стороне, а не на стороне власти. Эти симпатии и сочувствие молодежи поддерживают советских писателей в их творчестве, в их нелегкой борьбе против диктатуры.

Какие же новые черты советской молодежи видны в литературных произведениях 1956—57 г.?

Прежде всего **смелость** в отношении к власти и ее представителям. В романе «Люди и степени» Конст. Лебедева («Знамя» № 8, 1956 г.) описан разговор между комсомольским «руководителем» со студенткой:

«— Итак, встаньте и объясните нам, — холодно повторил Радик.

— Не встану и не объясню, — отпарировала Былинкина и, переходя в наступление, раздраженно добавила: — И, собственно, что это за тон? Кто вы такой, чтобы нас допрашивать? А? Милиционер?

— Я не милиционер. Я комсорг группы и член факультетского бюро... И я вправе интересоваться вашей жизнью.

— Ничего я тебе объяснять не собираюсь... Разговаривать с тобой не хочу».

В пьесе Н. Погодина «Сонет Петрарки» («Литературная Москва» № 2, 1956 г.) комсомолку Майю вызывает для объяснений секретарь Обкома партии. Майя говорит ему:

«— Вот я пришла... свободно разговариваю... я совсем вас не боюсь».

Комсомольская активистка Клара требует у Майи, чтобы та рассказала ей о своей интимной жизни:

«К л а р а : — Поделиться со мной не хочешь.

М а й я : — Это невозможно.

К л а р а : Но объясни мне, почему?!

М а й я : — Почему никто не видит, как распускаются цветы, как создается колос, как возникает буря!»

Молодежь стала защищать свою личную жизнь от вмешательства партийной власти. (Интересно, что сама активистка Клара признается, что у нее от комсомольского послушания «в душе какая-то противная пустота образовалась»).

В рассказе А. Яшина «Рычаги» наряду с людьми старшего поколения показан молодой член партии Сергей Щукин. Рассказ начинается с разговора в доме правления колхоза между председателем колхоза, животноводом, бригадиром и кладовщиком Щукиным. Разговаривали они «доверительно, без всяких оглядок» — разговор вылился в жестокую критику первого секретаря райкома и вообще в критику партийной политики на селе. Когда молодой Щукин сказал: «Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика-самокритика. К делу она неприменима», — председатель колхоза испугался. А когда обнаружилось, что их разговор слышала сидевшая за печкой старая уборщица, испугались все — кроме молодого Щукина:

«Один Щукин вдруг повел себя несколько странно: его глаза — молодые, озорные, с хитринкой — блестели и смотрели на всех с вызовом... Наконец, он не выдержал и громко захохотал:

— Ох, и напугала же нас проклятая баба! — хохоча, говорил Щукин...

Петр Кузьмич и Коноплев переглянулись...:

— И верно — дьяволица!.. Ну, думаем, сам приехал, застукал нас...

— Перепутались, как мальчишки на чужом горохе...  
— И чего мы боимся, мужики? — раздумчиво и немного грустно произнес вдруг Петр Кузьмич: — Ведь самих себя уже боимся!  
Но Ципышев не улыбался..., только на Сергея Щукина взглянул строго:  
— Молод ты еще, чтобы над этим смеяться! Поживи с наше... Но Щукин не унимался...»

В смехе молодого Щукина над страхом старших и есть то, что отличает современную советскую молодежь от тех, кто вырос при Сталине. Правда, Щукин у А. Яшина плутоват. Чувствуется, что свое превосходство над старшими он не прочь при случае использовать в корыстных целях.

Ясно звучит в литературных произведениях и другая черта современной молодежи — ее откровенный протест против лживости окружающей жизни и открытое требование правды. Школьники в повести Л. Кабо «В трудном походе» («Новый мир» № 11 и № 12, 1956 г.) говорят о книге награжденной Сталинской премией:

«— Я читать не мог, тошнило. В самом деле, почему так получается: в книжке одно, а в жизни другое? Я у дяди в колхозе был этим летом: там колхозники три года ничего по трудовням не получают. Представляете? Вот о чем надо писать! Там в половине деревни в избах пусто. Надо писать, почему так получается, или не надо? Надо! А писатели вместо этого слюни распускают. Разнонятся, наболтают сироба, читать противно. Нет, вы скажите мне, я серьезно спрашиваю: почему они правды не пишут?

— Пишут. Иногда...

— Спасибо — иногда! Я всегда хочу читать правду. Нам в жизнь идти, должны мы знать жизнь или не должны?»

Можно представить, что думает и что говорит теперь советская молодежь о Хрущеве, который в мае 1957 года в своей речи к писателям заявил:

«Я считаю, что надо с чувством уважения относиться к премиям и с гордостью носить почетный знак лауреата Сталинской премии. Если бы я имел Сталинскую премию, то я носил бы почетный знак лауреата».

До войны не только школьники, но и студенты не смели словом обмолвиться по поводу систематических изъятий и переделок учебных пособий — согласно очередному повороту политического курса. В той же повести Л. Кабо школьники откровенно возмущаются и переделкой учебников и заменой общепринятых иностранных названий русскими:

«— А почему, вы мне скажите, у нас все учебники переделали? Всех иностранных ученых русскими заменили... Дуга Петрова, например. А в магазинах теперь не французские булки продают, а между прочим, городские...

— Южные орехи вместо американских...

— Кроши, Юрка!

Юрка Шнырев к жизни относится просто: раз с трибуны не го-

нят — говори, режь, что называется, правду-матку... Хитрющие глаза его сузились и блестели от нескрываемого удовольствия».

Однажды в школе побывал «корреспондент центральной газеты». Вскоре школьники прочли его отчет о школьном диспуте — в отчете не было ни слова правды:

«С вниманием и волнением слушают ученики слова о том, как воспитывается наша молодежь...» — читал вслух один из учеников.

— Вранье! — возмущается Владик. — «С вниманием и волнением!» Я, например, ни слова не слышал, я книжку читал...

— А что ж, он тебе так и напишет: выступает директор школы, так сказать, душа и инициатор, а Пелевин во время его речи книжку читает?

— А что? — хохочет Владик. — зато правда.

— Кто это там правды захотел? — оборачивается от окна Женя. — Ты, Владик? Нет, вы мне скажите, кому все это нужно, кому... — и вдруг ругается. Ругается неумело, как-то особенно старательно, глаза у него при этом злые и несчастные...

— Им поверь, — подхватил Алик («им» — это, очевидно, значило «газетчикам», — прибавляет писательница от себя, понимая, что читатель «им» отнесет не только к «газетчикам», а и к «вождям») — так везде одно и то же: в Ереване то же, что и в Сталинабаде, на Кубани так же, как в Москве...

— Я, ребята, берусь такие статьи не сходя с места писать.

— Одной рукой!

— А что? Можно...

— Нет, вы скажите, — настойчиво продолжал Женька. — Вы мне скажите только одно: **чему я теперь верить должен?**» (подчеркнутой мной — В. Ж.).».

«Чему я теперь верить должен?» — так сегодня говорят миллионы советских молодых людей. Не верят они и хрущевской полуправде. После речи Хрущева на закрытом заседании 20-го партсъезда и постановления ЦК «о преодолении культа личности и его последствий», после «реабилитации» мертвых, после того, как партийная пропаганда стала трубить о «переменах», молодой поэт-комсомолец Евг. Евтушенко (теперь исключенный из комсомола под предлогом неуплаты членских взносов) в поэме «Станция Зима» («Октябрь» № 10, 1956 г.) пишет:

**«Да, перемены, да, но за речами  
Какая-то туманная игра,  
Твердим о том, о чем вчера молчали,  
Молчим о том, что делали вчера.»**

Казенные ответы изолгавшегося партруководства молодежь не удовлетворяют — она хочет знать правду. Тот же Евг. Евтушенко пишет:

**«Я знал, что мне дадут ответы дружно  
На все и «как?», и «что?», и «почему?»,  
Но получилось вдруг, что стало нужно  
Давать ответы эти самому.»**

В чем правда жизни, советская молодежь еще явно не знает, но

она знает, что жить так, как жили раньше, нельзя: прежде всего надо очиститься от неправды в самом себе. Е. Евтушенко пишет об этом в своей поэме-исповеди:

**«Конечно, я не так уж много прожил,  
Но в двадцать все пересмотрел опять —  
Что я сказал, но был сказать не должен,  
Что не сказал, но должен был сказать.  
Увидел я, что часто жил с оглядкой,  
Что мало думал, чувствовал, хотел,  
Что было в жизни, чересчур уж гладкой,  
Благих порывов больше, а не дел».**

Молодой поэт Кобзев пишет холоднее, но по сути о том же самом:

**«Не мало пробелов и странностей  
Представила мне эпоха.  
Я часто блуждал в туманностях  
Между «хорошо» и «плохо».  
Я многое знал без точности,  
Оправдывал заблуждения,  
Я часто без должной точности  
Слагал свои убеждения».**

В чем правда — советский молодой человек еще не знает, но он знает, что без правды счастья на земле быть не может и что правду надо искать:

**«Ты потерпи, ты вглядывайся, слушай,  
Ищи, ищи. Пройди весь белый свет.  
Да, правда хорошо, а счастье лучше,  
Но все-таки без правды счастья нет».**

— пишет Ев. Евтушенко.

Единственно, что уже знает советская молодежь, — это то, что правда немыслима без любви к человеку: «Люби людей», — говорит молодому человеку страна в поэме «Станция Зима». Та же любовь к человеку живет и в мальчике Егорке, и в школьнике-старшекласснике Севе из рассказа А. Вальцевой «Квартира № 13».

С чего же надо начинать поиски правды? Евг. Евтушенко говорит:

**«Давайте думать о большом и малом,  
Чтоб жить глубоко, жить не как-нибудь.  
Великое не может быть обманом,  
Но люди его могут обмануть...  
Чего хочу? Хочу я биться храбро.  
Но так, чтобы во всем, за что я бьюсь,  
Горела та единственная правда,  
Которой никогда не поступлюсь.  
Жить не хотим мы так, как ветер дунет,  
Мы разберемся в наших «почему».  
Великое зовет. Давайте думать.  
Давайте будем равными ему».**

Нынешний советский молодой человек, как все люди в юности,

любит жизнь, любит ее повседневные радости, но он, как дудинцевский герой, знает, что смысл жизни не в этих радостях. Евг. Евтушенко в стихотворении, напечатанном в альманахе «Литературная Москва» № 1, пишет:

**«В жизни так много славного —  
Свиданья, театр, цветы,  
Но нету чего-то главного,  
Которого хочешь ты.  
В потихивающей полночи  
Сонной квартиры твоей —  
Знаю — ты ищешь помощи  
У строгих великих идей».**

Прежняя советская молодежь тоже знала и чувствовала лживость окружавшей ее жизни, но правды она не искала, современная — ищет, потому что характер у нее другой. Молодая поэтесса Людмила Шипахина в стихотворении «Характер» («Литературная Москва» № 1, 1956 г.) говорит:

**«Это он мой лоб уже отметил  
Меж бровей морщинкою упрямой,  
Правду научил искать на свете  
И всегда в глаза смотреть ей прямо».**

Поиски правды, раздумье, смелость обострили зрение молодого человека. Прежде молодежь предпочитала не замечать, обходить в жизни тяжелое (может быть, потому, чтобы не стыдно было). Теперь Евг. Евтушенко пишет в своей поэме:

**«Но задевал я в этот раз неловко  
Все то, что раньше обходить привык.  
Здесь резали мне глаз необычайно  
И с нехорошей надписью забор,  
И пьяный, распростершийся у чайной,  
И у раймага в очереди спор ...  
Протезы нищих по камням стучали ...»**

И слух обострился у советской молодежи: стоило Хрущеву заявить, что он вместе со своими соратниками не мог остановить Сталина, когда тот творил страшные преступления, молодежь — не знающая сталинщины! — сразу же поняла фальшь хрущевских оправданий. Евг. Евтушенко пишет:

**«Я не хочу оправдывать бессилье,  
Я тех людей не стану извинять,  
Кто веще прозрение России  
На мелочь сплетен хочет разменять.  
Пусть будет суета уделом слабых,  
Так легче жить, во всем других вина,  
Не слабости, а дел больших и славных  
Россия ожидает от меня».**

У молодежи явно растет сознание того, что партийный режим

изжил себя, состарился, молодежь тянется к новому, жизнеспособному. Где это новое — она еще не знает, но только не в окостеневшем режиме, только не в его идеологии столетней давности. Правильную дорогу искать, не боясь ни бедности, ни непризнания, ни все еще цепких рук стоящих у власти вождей! Юность молодым чутьем угадывает, что дорога, по которой ее гонят, ведет в тупик, и она наощупь ищет иной дороги. Может быть, ничто так ярко не передает этого нового мироощущения, зарождающегося в советской молодежи, как стихотворение поэта Мих. Луконина «В новогоднюю ночь» («Новый мир» 12, 1956 г.):

«Вы представьте, у меня уже старость была —  
Отсталость, забывчивость, чопорность и усталость.  
Она морщины на сердце плела,  
Моя почтенная скоропостижная старость.  
Мне начинало нравиться даже, я даже гордился тайком:  
Уже не ругают, кормят протертой кашкой...  
Был ли красивым и умным я стариком?  
Нет, не скажу. Был обыкновеннейшим старикашкой.  
Просили не волноваться, отдохновеньем маня,  
Подчеркнуто вежливо, бережно уважали,  
И под руки поддерживали меня,  
Когда в президиум церемонно сажали.  
Я начал подумывать, что старость удобней, чем то,  
Что молодостью зовут и что связано с болью  
Неизвестности, с поисками, с сильно потертым пальто,  
С непризнанием, с неразделенной любовью.  
Я сначала блаженствовал, но потом неожиданно стал замечать,  
Что завистников у меня не осталось хотя бы для виду.  
А враги мои почему-то стали молчать.  
В эту минуту я почувствовал неслыханную обиду.  
Я мягкие руки отстранил в этот миг,  
Встал и ушел из президиума, задышавшись от жажды.  
И пошел, и пошел. И в сердце внезапно возник  
Тот самый огонь, что полыхал неоднократно.  
Враги мои и завистники увязались со мной,  
Деньги перевелись. И пальто прохудилось.  
Я снова знаю, как надо писать. И в гостиной одной  
Уже принимать меня отказались! Скажите на милость!  
Я распрямился, почувствовал силу плеча,  
Хрустнул руками, спружинил спиной и — помчался,  
Не разбирая дороги, ничего не боясь, над собой хохоча.  
Так и иду я теперь, спотыкаясь от счастья.  
Мне совсем не известно, что сделаю я, что найду,  
Ничего еще нет у меня, кроме жажды полета.  
Предчувствую радости и предвижу беду,  
В сердце растет откровенное, новое что-то,  
Чувствую, что молодею, худею лицом,  
Злею, ревнивею и, словно ветер, крепчаю.  
Жизнь свою переворачиваю обратным концом  
По направлению к юности. Понимаете? — прямо к началу!»

(Подчеркнуто мной — В. Ж.).

Молодой поэт спрашивает читателя: понимает ли он — читатель, — что он — поэт поэт подразумевает под словами: «Жизнь свою перево-

рачиваю обратным концом — по направлению к юности, — прямо к началу»? К началу чего? Не к началу ли, не к истокам ли ныне состарившегося режима — к тем идеям освобождения, равенства и справедливости, которые вдохновляли декабристов, разночинное студенчество, молодежь 60-х годов прошлого столетия, революционную молодежь, сражавшуюся на баррикадах 1905 и 1917 годов? Молодой поэт явно не имеет в виду ни большевистскую революцию, ни гражданскую войну. Вспомним, что влечет юношу-школьника Севу из «Квартиры № 13» А. Вальцевой — к старому рабочему дяде Мише: рассказы и песни, относящиеся не к большевистскому Октябрю и гражданской войне, а к дооктябрьскому революционному движению.

Понимает ли партийная диктатура происходящее в современной советской молодежи, понимает ли ее «характер», качественно отличающийся от характера старших поколений советских людей? Наверно понимает. Смелость и прямоту молодежи диктатура поносит, как «хулиганство безответственных элементов», поиски правды называет «чужими влияниями», «декадентством», тягу к новому — «пережитками капитализма». Непослушных исключают из институтов, мобилизуют в армию или на целинные земли, старшеклассников-выпускников гонят на заводы и в колхозы. Так, например, семь студентов МГУ, выпускавших во время венгерской революции бюллетень по радиопередачам БиБиСи, исключили из университета, а одного из них выслали на 101-й километр от Москвы. Правда о настроениях молодежи в литературе окрещивается, как «клевета» и «фальсификация»; так, например, школьников в повести Л. Кабо партийный критик Н. Макаров называет «рефлектирующими» «лишними людьми». Прибегать к сталинским методам «воспитания» молодежи нынешнее руководство боится — не те времена и не тот характер у молодежи. Но и Хрущевские методы выдают испуг власти. Ученики Ленина забыли, что писал их учитель по поводу студенческих волнений в 1901-м году — за четыре года до революции 1905 года. Ленин тогда писал в «Искре»:

«Вдумайтесь в поразительное несоответствие между скромностью и безобидностью студенческих требований — и переполохом правительства. Ничем так не выдает себя наше «всемогущее» правительство, как этим переполохом... Оно показывает этим — показывает всякому, имеющему глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, — что оно чувствует себя совершенно непрочным... Взгляните на правительственное сообщение: его пестрят слова: беспорядок, буйства, бесчинства, беззастенчивость, разнузданность. С одной стороны, признание преступных политических целей и стремления к политическим протестам; с другой — третирование студентов, как простых дебоширов, нуждающихся в уроках дисциплины».

Советская молодежь сама отвечает партийным надзирателям, претендующим на роль наставников. Евг. Евтушенко в «Утренних стихах» («Новый мир» № 4, 1957 г.) говорит о них и о их нападках на молодежь:

**«Но страшно ничему не научиться,  
всегда на роли судей притязать**

**и юности мятущейся, но чистой  
нечистые стремленья приписать.  
Усердье в подозрениях — не заслуга.  
Слепой судья — народу не слуга».**

## Кающийся коммунист

В середине прошлого столетия в русской классической литературе появился тип «кающегося дворянина». В советской литературе 1956 — 57 г. появился тип «кающегося коммуниста». Литературный тип «кающегося дворянина» не был писательской выдумкой — Тургенев, Гончаров, Некрасов, а позднее Л. Толстой по-разному изображали «кающихся дворян», беря их из жизни. Появление «кающихся дворян» было психологическим следствием упадка крепостного строя. Появление типа «кающегося коммуниста» — следствие глубокого кризиса правящего слоя в Советском Союзе.

Как «кающийся дворянин», так и «кающийся коммунист» — явление очень русское, обусловленное многими чертами русского национального характера. В Европе, Америке многие коммунисты разочаровываются, порывают с коммунистической партией и коммунизмом, становятся антикоммунистами, меняют убеждения, идеологию. Советский же «кающийся коммунист» остается в компартии. Западный человек и коммунистом становится по логическим убеждениям и порывает с компартией по тем или иным политическим, логическим соображениям. Его разочарование в коммунизме — плод размышлений ума. Для советского члена компартии коммунизм — это повседневная жизнь, и не только его самого, но и всего народа, всей страны. Его покаяние — явление не столько умственное, сколько психологическое; не столько политическое, сколько **нравственное**.

«Кающегося дворянина» породило страдание человека — крепостного крестьянина под властью дворянской власти, «кающегося коммуниста» породили страдания человека под жестокой властью коммунистической диктатуры. «Кающийся дворянин» и «кающийся коммунист» — это угрызение русской совести в среде правящего сословия; основной мотив покаяния — сострадание к угнетенному человеку и сознание своей вины за эти страдания. Разница между «кающимся дворянином» и «кающимся коммунистом» — в глубине и полноте художественного изображения их покаяния, в литературе. Но это уже результат условий литературного творчества: будь у советских писателей та свобода и те условия творчества, что были у русских писателей 19-го века, тема «кающегося коммуниста» несомненно развилась бы в одну из самых центральных тем литературы нашего времени.

Отметим еще, что «кающийся коммунист» появился и в славянских странах Восточной Европы, но не в чистом советском виде, а с большой долей рассудительности. Так чешский писатель Вацек Кана в апреле 1956 года говорил на съезде писателей:

«Я родился в рабочей среде. Но разве я защищал рабочих, когда им устанавливали нечеловеческие нормы выработки? Разве я защищал рабочих, когда они подвергались террористическим репрессиям только за то, что проявляли недовольство? Разве я протестовал, когда наши организаторы устраивали жизнь такую, что стало невозможно дышать?».

Польский поэт Витольд Вирша в 1956 году в своем выступлении на сейме говорил:

«Мы все лгали. Я тоже лгал. Я, например, не верил, что обвиняемые на московских процессах были изменниками и фашистскими агентами. Но мы все боялись, и я боялся, и потому лгал. И я считаю, что должен нести ответственность за то, что я лгал».

Советским писателям, по понятным причинам, трудно полностью развить тему «кающегося коммуниста». Поэтому в произведениях 1956—57 г. «кающийся коммунист» чаще встречается в эпизодических ролях или в небольших рассказах.

В эпизодической роли мы встречаемся с ним в коммунистах с «закипевшим сердцем» романа «Не хлебом единым», в «Квартире № 13» А. Вальцевой в образе жены Ковалева, которая просит прощения у соседей за мужа и сына, стыдится брать путевку в дом отдыха, а в конце уезжает от семьи за границу — в Китай («кающиеся дворяне» тоже искали успокоения за границей). Покаянием веет от рассуждений «ответственного москвича» в рассказе М. Зуева «Туман» — рассуждений о жизни, «разменной на пяточки».

Из целых произведений на тему «кающегося коммуниста» самым значительным является рассказ Д. Гранина «Собственное мнение» («Новый мир» № 8, 1956 г.), который вот уже второй год подвергается ожесточенным нападкам партийной критики. И хотя рассказ маленький — всего на восемь журнальных страниц, его — наравне с романом Дудинцева и альманахом «Литературная Москва» — поносили и Хрущев, и главный теоретический журнал ЦК «Коммунист».

В рассказе этом три основных героя: директор научно-исследовательского института Минаев, инструктор горкома партии Локтев и молодой инженер института Ольховский. Читатель легко улавливает символичность героев: деловое руководство, партруководство и творческий работник. Сюжет рассказа несложен. Ольховский написал статью против устаревших методов работы с предложением, дающим огромную экономию. Минаев отлично понимает «неопровержимую правоту» Ольховского, но публиковать статью отказывается — «открыто поддерживать его — значило вступить в конфликт со многими влиятельными людьми». Ольховский, убежденный в пользе своего предложения, борется. «Молодец», — думает Минаев об Ольховском и даже решает помочь ему, когда сам укрепитесь в должности директора. Ольховский продолжает бороться — Минаев ощущает «смутное чувство вины... Это нехорошо... Так нельзя...», но предложению молодого инженера попрежнему ходу не дает. Ольховский «ожесточенно и неумело продолжал свою безнадежную борьбу». Его «возмущала уже не столько судьба своей работы, сколько природа этой вязкой, непробиваемой преграды». Он выступает на партийном собра-

нии с критикой Локтева — за «трупное равнодушие к живой мысли». Минаев «испытывал жалость и сочувствие» к Ольховскому — он знал, что Локтев:

«в силу своей бездарности не оставлял безнаказанным ни одно выступление против себя. Рано или поздно он находил удобный момент подставить ножку, распространял слухи, не гнушаясь никакими средствами».

Минаев «в глубине души остро завидовал безоглядной свободе Ольховского... Минаева тянуло остановить его, поговорить по душам, кое-что посоветовать». Потом «Минаева вызвали в горком. Он знал, что Локтев добивается увольнения Ольховского». По пути в горком Минаев думает о Локтеве:

«„Какое он имеет право вмешиваться в мои дела?.. С какой стати я должен потакать мелкому уязвленному самолюбию этого деятеля?.. Нет, хватит...”

Поднимаясь по широкой лестнице горкома, Минаев высоко поднимал голову, в чертах его грузного лица... проступала жесткая решимость».

Но из горкома Минаев вышел другим: отпустив шофера, он пошел куда глаза глядят, вспоминая, что случилось в кабинете Локтева: — начиналась, как пишет автор, «тягостная психология»:

«Слушая Локтева, он спрашивал себя, по какому праву этот серый недоучка, с мертвым, каким-то **прошлогодним** лицом, никогда ничего не создавший и не способный создать, сидит здесь и распоряжается судьбами таких людей, как Ольховский... «Какой подлец!»... «Ах, какая сволочь!» — подумал Минаев и крепко пожал руку Локтева».

От воспоминаний о своем очередном предательстве Ольховского Минаев

«почувствовал себя старым и навсегда усталым. Он вдруг увидел себя со стороны — обрюзгший лысый мужчина, с отечным лицом, идет по мосту, стиснув в руке шляпу. Боже, как он быстро состарился! Когда же это случилось?».

Минаев вспоминает свою молодость, когда и он боролся, подобно Ольховскому, когда с ним поступили так же, как он поступил с Ольховским.

«Тогда он сделал вид, что смирился. Он утешал себя: это временно. Надо пойти в обход, сперва добиться независимости, а потом громить... Он поклялся — все стерпеть. Он поддакивал тупым невеждам. Он голосовал «за», когда совесть его требовала голосовать против. Он говорил слова, которым не верил. Он хвалил то, что надо было ругать. Когда становилось нестерпимо, он молчал. Молчание — самая удобная форма лжи... Всякий раз было еще рано! А список его долгов рос».

Сознание Минаева раздваивается: кающийся Минаев говорит Минаеву защищающемуся:

«Ты обещал стать самим собой... Нет, ты продал не только своих друзей, не только Ольховского, ты предал меня, свою молодость».

Дальше автор пишет:

**«Но был еще третий Минаев..., который знал, что он всегда будет вести эту бесконечную игру, не имея сил вырваться из плена собственного двоедушия. У него будут оправдания. Он всегда будет стремиться стать честным завтра»** (подчеркнуто мной —В. Ж.).

О том же, о чем Д. Гранин пишет в своем рассказе, пишет и Евг. Евтушенко в своей поэме-исповеди молодого коммуниста-комсомольца, когда он кается, что «жил с оглядкой», «мало думал, чувствовал, хотел», что было в жизни «благих порывов больше, а не дел», что он говорит то, о чем не должен был говорить, и не сказал того, о чем сказать был должен. Измученный раскаянием москвич-комсомолец едет в провинциальную глушь, думая:

**«Но средство есть всегда в такую пору  
набраться новых замыслов и сил,  
опять земли коснувшись, по которой  
когда-то босиком еще пылил».**

Он едет в провинцию «за мужеством, за правдой, за добром», как некогда ехали «кающиеся дворяне» из столиц в деревни, надеясь очиститься среди трудов, природы и опрощения.

В пьесе Н. Погодина «Сонет Петрарки» («Литературная Москва» № 2, 1956 г.), с успехом шедшей в последнем сезоне в московском театре им. В. Маяковского, изображен начальник крупного строительства — коммунист Суходолов. Суходолов не Минаев. Он мужественный, сильный человек. И все же взгляд его, хотя и «орлиный», но «грустный». Суходолова все больше и больше охватывает чувство одиночества. Ночью он разговаривает со своей прислугой — старой Мариной:

Суходолов: — Горизонт —это великое дело... И когда он исчезает... ни зги не видно... тогда дело дрянь.

Старуха служит у Суходолова пятнадцать лет. Она замечает, что в последнее время он стал добрее, «любезнее».

Суходолов: — Нет, почему ты считаешь, будто я какой-то любезный... Мне это очень важно ... Ведь я, например, с ранней юности учился ненавидеть.

Марина: — Ну, и что же?

Суходолов: — А то, что если чувство это потерять, то... ты уже не член нашей партии... Кого я должен ненавидеть в нашей стране? Может быть, пора учиться любить?

Марина: — Вот хорошо было бы.

Суходолов (раздумывая): — Что я любил... Любил начинать строительство, жить на новом месте, удивлять людей размахом, славу любил...

Марина: — Помирать не звали, а ты в исповедь ударился...

Суходолов: — Да, вот признаюсь, славу люблю, будущее люблю, партию свою люблю, сына люблю, тебя, народ люблю... а вот человека обыкновенного, каждодневного я ведь не люблю. Я к нему отношусь подозрительно, чуждо отношусь к человеку...

Марина: — Да, характер у тебя мягче стал.

Суходолов: — Может быть, что-то зашевелилось, не одна ты заметила, но я в широком смысле толкую вопрос... философски.

Чувство покаяния «зашевелилось» у Суходолова от жажды любви, от «мечты» о любви. Разговаривая с другом детства на берегу большой реки, Суходолов как бы подводит итог прожитому:

Суходолов: — Я строю двадцать лет...

Армадо: — Слушай, когда мы кончим строить?... Пойми, что на земле бывают не только огромные стройки, но и огромные чувства...

Коммунист-строитель Суходолов сам уже чувствует это. Мимо по вечерней реке проходит пароход.

Суходолов: — Эх вы, манящие огни! С удовольствием уехал бы на этом пароходе вниз к океану. Нельзя, вернут... и будут говорить, что Суходолов помешался.

Читатель понимает, что именно стройки во имя ненависти, а не во имя любви и породили духовный конфликт в строителе Суходолове — «ведь я с ранней юности учился ненавидеть... Может быть, пора учиться любить?» Это суходоловское покаяние перед «обыкновенным человеком» косвенно подтверждает секретарь обкома Павел Михайлович в разговоре с парторгом Дононовым:

Павел Михайлович: — ...развивались в определенном направлении.

Дононов: — В каком же?

Павел Михайлович: — В направлении недоверия к людям, нетерпимости, человекобоязни.

Как советский коммунист становится кающимся коммунистом, показывает Юрий Нагибин в рассказе «Свет в окне» («Литературная Москва» № 2).

Директор Дома отдыха, Василий Петрович, несмотря на перенаселение Дома, держит свободной отдельную «большую, столичного вида квартиру из трех просторных комнат», богато обставленную, с телевизором, биллиардом. Держит «на случай, если сам приедет». Но «сам» — невидимый начальник — не приезжает. И директора начинает мучить совесть:

«Он долго не мог забыть лиц двух молодых людей... их разместили по разным комнатам. Он едва не дрогнул, представив себе, каким бы несказанным счастьем явилась для них отдельная квартира... Не лучше чувствовал себя Василий Петрович и во время приезда... каменщика, некогда строившего этот Дом отдыха. Каменщик приехал с женой и тремя неумными сыновьями...»

Когда уборщица Настя, дворник Степан с детьми самовольно идут вечером отдыхать в неприкосновенную, предназначенную для начальства квартиру, директор раскричался на них — посмеявших «нарушить запрет». Он кричал, но в то же время ощущал, что случилось «что-то очень хорошее, очень правильное, очень нужное».

«Он вдруг осекся, замолчал, с удивлением прислушиваясь к странному, новому, незнакомому ощущению, которое поднималось, росло внутри него, пронизывало до кончиков пальцев, ощущению гадливости к самому себе».

Символичность рассказа у читателя не оставляет сомнения.

Такой же приступ покаяния у коммуниста мы встречаем в рассказе Н. Жданова «Поездка на родину» («Литературная Москва», № 2).

Ответственный партийный работник Варыгин едет в деревню хоронить мать, которую не видел шесть лет — все некогда было. В деревне он увидел беспросветную бедность. Односельчане были Варыгину чужими. Старый крестьянин говорит ему:

«— Мы с твоим отцом большими дружками были. Теперь ты, слышь, в руководящих... Вы стало быть, руководящие, мы — производящие, так оно, кхе-кхе, и выходит».

«В поезде, укладываясь спать..., в купе он с облегчением подумал, что волнения и неприятности этих дней остались позади, и с удовольствием представил, как завтра войдет в свой теплый, хорошо обставленный кабинет и сядет у стола в кресло.

Однако **чувство какой-то вины** (ВЖ) еще долго не оставляло Варыгина. Сон не шел, и сквозь тягучую дрему воображение рисовало ему... мать, лицо у нее было маленькое и темное, как было в церкви; она подвигается к нему и спрашивает с надеждой и ожиданием: „Верно ли, нет ли с нами сделали?“

Сколько советских ответственных коммунистов так вот, как ждановский Варыгин, слышат по ночам этот вопрос замученного ими трудового человека: «верно ли, нет ли с нами сделали?»

В. Каверин в третьей части своей трилогии «Открытая книга» — «Поиски и надежды» («Литературная Москва» № 1) — угрызения совести и покаяние среди правящего сословия показывает в образе жены крупного ученого, — коммуниста — директора научно-исследовательского института, члена Ученого совета Министерства — Валентина Сергеевича Крамова.

Крамов со своими помощниками безвинно посадил в тюрьму талантливую ученую, профессора Львова. Жена Крамова, Глафира Сергеевна, приходит на квартиру Львова к жене арестованного. И здесь Каверин дает потрясающую картину покаяния жены Крамова:

«— Не смотрите на меня такими глазами, а то я могу уйти, — быстро сказала она. — И будет жалко и вам и мне. Мне — потому что надо же хоть раз в жизни сделать доброе дело... Я знаю, вы думаете, что я самый плохой человек на земле. Это верно. Но мне, видите ли, было трудно понять, что я плохой человек, а ведь это само по себе показывает, что не такой уж плохой... Татьяна Пет-

ровна, дайте мне чашку чая, — вдруг попросила она, — а то я с утра хожу по Москве. Вот в лимитном, например, купила шелку на платье, — думала, станет легче, — это у меня прежде бывало. Нет, не стало».

Нет, не помогают уже ни богатство, ни сознание своей власти — чувство вины, угрызения совести сильнее! Далее Глафира Сергеевна говорит о муже:

«— Я ведь всегда одна и всегда молчу, с **моим** не наговоришься. Да вот, теперь о нем. Я уж не знаю, что вы там не поделили, — сказала она, небрежно оглянувшись, но в самой этой небрежности было что-то осторожное, страшное, точно она думала, что не только я, еще кто-то слышит ее и следит за каждым ее движением, — но он вас ненавидит... И что ни год, то пуще, особенно после того, как вы над ним посмеялись... Вы его еще не знаете. Вам только одно может помочь — его смерть, а иначе он все равно добьется, уж не знаю чего — унижения, уничтожения, а только тоже смерти, не физической, так душевной... Вы думаете, он не может резать?»

— Как резать?

— Очень просто. Ведь он же разбойник. Он же нагребил все это — деньги, квартиру роскошную, ковры, мебель, славу, связи свои. За что ему все это? Что он в сущности сделал? И знаете ли, что я вам скажу, — помолдав продолжала Глафира Сергеевна, — таких, как он, сотни. Куда там — тысячи! И они держатся друг за друга. Боятся и ненавидят и все-таки, ох, как держатся, как старательно прикрывают друг друга!.. А вот попробуйте отнять у такого человека хоть плоску — зарежет; один — вежливо, предварительно попросив извинения, а другой — попросту, при ясном свете дня. Но и его зарежут.

— Кого?

— А Валентина Сергеевича! Ведь это только кажется, что он в этой компании — главный... Надо идти. Бог даст, все еще будет хорошо. Андрей ваш вернется. Он меня никогда не любил — и поделом. А теперь, вот, вы расскажете ему, как я для него постаралась. Может быть, я ему покажусь не так плоха...»

Глафира Сергеевна уходит, оставив жене Львова черновики доносов мужа на Львова. Выйдя на лестничную клетку, она бросается вниз с пятого этажа, самоубийством кончая свое покаяние.

«Она лежала, точно пытаясь встать, точно **рванувшись куда-то** (ВЖ), ее можно было узнать только по красивым рукам, на которые я все смотрела во время нашего разговора».

Именно страдания человека, обездоленного коммунистической властью, — вот та психологическая основа, которая породила и порождает среди правящего сословия кающегося коммуниста. Не случайно в литературных произведениях приступы покаяния у некоторых представителей власти приходят в больницах, где мучения человека заметнее, чем в обычной жизни, где перед лицом смерти они как бы очищаются в страданиях. Так было с Надей в романе «Не хлебом единым», так происходит с секретарем обкома Токаревым в романе Н. Вирты «Крутые горы»:

«Все, что слышал и видел Токарев в больнице, потрясло его до глубины души, и он долго ходил по задкам села и думал, думал...»

Это о нем, о кающемся коммунисте пишет поэт К. Ваншенкин:

**«Ходит, сам с собою споря,  
в тишине ночной...  
Человеческое горе  
рядом за стеной».**

Партийная власть боится «кающегося коммуниста», ибо она знает, что кающийся коммунист симптом ее старости и разложения так же, как «кающийся дворянин» был предвестником гибели крепостного строя.

## Человек с войны

«Да, мы, солдаты, кандидаты в покойники,  
Стоящие в очереди за судьбой.  
Но мы не завидуем счастью спокойненьких,  
Живущих в сторонке, довольных собой.  
Что им до того, промок ли, продрог ли ты,  
Тепло им, и с крыши на них не течет.  
Кто выживет, всем им — будь они прокляты! —  
Предъявит за мертвых солдатский счет.  
Он даст им свой ранг и свою категорию,  
Он встанет, как ДОТ, поперек пути.  
Он этим «героям» не даст в историю  
По следу друзей убитых пройти.  
Дома возводя над пеплом пожарища  
И празднуя трудной победы час,  
Он, все переживший, примет в товарищи  
Лишь тех, кто оружие ковали для нас».

Это стихотворение «Посторонним» А. Сурков написал на фронте в 1942 году, но в печати оно появилось только в марте 1957 года («Знамя» № 3). Такое запоздание не случайно, и прежде всего потому, что тема «человек с войны» была изгнана из советской литературы сразу же после победы.

Изгнана она была, потому что «человек с войны» пугал партийную власть. Люди фронта, люди огня не были теми покорными гражданами, которые нужны правящей диктатуре. Человек с войны видел — и не забыл! — испуг власти, прошел через страдания и огонь сражений, пережил тяжелые отступления и радости побед, повидал Европу, о многом передумал, из войны вышел с сознанием победителя, защитника Родины, и с основанием считал, что власть обязана ему своим существованием и что она должна после победы пойти на необходимые перемены в стране. Но партийная власть сразу же после войны стала делать все, чтобы фронтовики как можно скорей забыли обо всем этом. Победу над врагом, спасение Родины партийная диктатура, как известно, приписала себе.

Чем же объяснить, что тема «человека с войны» вернулась в советскую литературу через десять с лишним лет после войны? Объясняется это отчасти некоторой творческой свободой в 1956-ом году, а еще больше тем, что в политической жизни Советского Союза при той расстановке сил, как они складывались после смерти Сталина, армия и фронтовики стали играть значительную роль. Борющиеся за власть группировки на верхах правящего сословия — каждая по-

своему — старались привлечь на свою сторону симпатии армии и двадцати миллионов ветеранов (вместе с членами семей — это почти половина населения страны).

Кто-кто, а долголетний член ЦК и глава Союза писателей СССР А. Сурков это отлично знал, поэтому и опубликовал в начале 1957-го года свою «Старую полевую книжку». В стихотворении «Посторонним» он говорит — «будьте вы прокляты!» тем, кто не был на фронте и кто не «ковал оружия» для солдат, — им фронтовики не дадут «войти в историю». Вычищенные из Президиума ЦК на июньском Пленуме 1957 года почти все подходят под это сурковское определение (за исключением Шепилова, который окончил войну в чине генерал-майора Политуправления); Хрущев же и Булганин, как известно, во время войны были на фронте в генеральских чинах, среди других членов ЦК и нового Президиума не мало ветеранов войны.

Что же нового узнал читатель о войне, о человеке с войны в художественных произведениях 1956-57 года?

Тот же А. Сурков в своем предисловии к «Старой полевой книжке» пишет:

«Когда автор писал публикуемые стихи, на его глазах умирали в бесновании пламени и бомбовом вое Могилев, Витебск, Орша, Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Великие Луки, Можайск, Истра и многие другие города — белорусские, русские, украинские.

В те дни в катастрофе самых страшных отступлений Великой Отечественной войны умирали на его глазах иллюзии о войне малой кровью, коротким и сильным ударом, на чужой территории...

Автор признается в том, что в самые кромешные дни летнего отступления 1941 года, когда все текло, когда люди просыпались брюнетами или блондинами, а ложились спать седоголовыми стариками, он придумал веселого, неунывающего лубочного героя Гришу Танкина. Чем быстрее бежали не в ту сторону его беспоясные однополчане, тем больше поджигал Гриша немецких танков, тем чаще приводил он «языков», тем больше убивал из засады огнем своей снайперовской винтовки вражьи солдаты» (подчеркнуто мной. — ВЖ).

Сурков свои стихи из «Старой полевой книжки» называет стихами, «продиктованными усталостью или естественным раздражением не против врагов, а против некоторых своих». Он, Сурков, в предисловии пытается оправдаться, что столько лет боялся печатать эти стихи; а боялся он потому, что в этих стихах, написанных в 1941-1942 годах явно звучит «пораженчество» — то, что привело миллионы советских солдат и офицеров в плен к немцам. Читая стихи из «Старой полевой книжки», иной раз кажется, что член ЦК Сурков написал их на войне на случай перемены власти — для оправдания перед новой властью.

**«Болотная мутная ночь белобрыса.**

**На влажных гнилушках зеленая цвель.**

**Тоска, как облезлая старая крыса,**

**Опять в темноте заползла под шинель.**

**Опять ей помучить меня захотелось.**

**Луну утащила с подзвездных высот,**

Под влажной шинелью на теле пригрелась,  
Безжалостно, медленно сердце сосет.  
Крысиные зубы прогрызли аорту.  
По капле из жил утекает тепло...  
Да сгинь ты, проклятая, ну тебя к черту!  
И без тебя на войне тяжело».

Или это:

«Ожиданье победы, заране загаданной,  
В эти черные дни утонуло в крови.  
Стыд по сердцу прошел обжигающей ссадиной.  
Что нам делать? — Замолкни ты, душу не рви...»

Свои партийные стихи времен войны Сурков писал на мотив «В бой за родину, в бой за Сталина!», а для себя писал иначе — например, «Фантазия» (обращение к марсианам):

Быть может, их губы дрожат от испуга.  
Им страшно: зачем в городах, на дорогах  
Стреляют и жгут и калечат друг друга  
Огромные стаи разумных двуногих?  
Как им рассказать, чтобы поняли разом,  
Ведь голос людской не окреп для ответа.  
Немотствует ясный, немеркнувший разум,  
Когда утонула в страданиях планета.  
Мы меньше бактерий на вашем экране.  
Наш стон не доходит до вас из эфира.  
И вы не поймете, друзья марсиане,  
Всю горечь трагедии нашего мира».

Советский читатель знает, кто во время войны бежал без оглядки на восток, захватывая партийные или заводские кассы, сжигая архивы (заметая следы), кто бежал вглубь страны: в страхе иной раз не столько перед немцами, сколько перед собственным трудовым народом — это были представители правящего сословия. Вот как пишет об этом бегстве Сурков в стихотворении «Перевертни»:

«Скрежеща, разрывая ткани, круша,  
Вломилась, ночного громилы грубей.  
И тогда у иных задрожала душа,  
Как испуганный воробей.  
Когда берлинский убийца крал  
Города и пространства нашей Руси,  
Они, переваливая за Урал,  
Шептали: — Господи, пронеси!  
Позабыв довоенные клятвы и лесть,  
Эта шваль уползала с дрожью в ногах,  
Предоставив солдатам высокую честь  
Умирать в подмосковских снегах».

Правда о войне видна и в других произведениях, например, в рассказе Николая Грибачева «Кто умрет сегодня» («Огонек», май 1956 г.):

«Часов около двенадцати снова начался бой на высоте, менее гро-

мыхающий, но более длительный, — казалось, даже орудия и минометы устают реветь на выжженной земле. Только самолеты продолжали носиться в небе, и от этого раздражение Стригунова переходило в злобу: — Они летают, а наших ни одного!.. Хвастались: через полюс летаем... А от смерти сверху ладошкой прикрываемся!»

В романе В. Каверина «Поиски и надежды» («Литературная Москва» № 2) есть немало правдивых подробностей о жизни страны во время войны:

«...Купила на рынке кило масла за девятьсот рублей... В марте ничего не выдавали по февральским талонам, в коммерческих столовых пусто, хоть шаром покати, за хлеб на рынке просили по сто рублей кило... Мы с Андреем вынимали из портфеля небогатый паек, состоящий иногда из селедки и куска пшенной каши...»

В литературе 1956—57 г. появилась интересная подробность о настроениях военных лет: в людях проснулась тяга к прошлому, досоветскому. В том же романе Каверина подполковник медслужбы Власенкова пишет в своих записках:

«Война, глубоко перетряхнувшая жизнь, вдруг оживила старые, казавшиеся давно забытые связи. К старым друзьям потянуло, как потянуло к «Войне и миру», книге, которую читали все — и в тылу, и на фронте... У вокзалов вдруг появились извозчики, бородатые, в армяках, с номерами, и школьники подолгу разглядывали их, как живую иллюстрацию к истории дореволюционной России».

Поэт Борис Слуцкий в стихотворении «В Москве по увольнительной» пишет:

**«Ошую и одесную пожарища густо дымили.  
Под звоны стекол оконных  
Сражалась столица моя...  
...И гудят с Арбата  
Старинные гулы набата.  
Колокола с колоколен,  
Давно сокрушенных, гудят».**

У молодежи — у тех юношей и девушек, которым в начале войны было около двадцати лет, война вызвала «чувство гордого гражданства» — не советского, не партийного гражданства, как уверяет пропаганда, а гражданства, связанного с глубоким ощущением кровной связи с Родиной, с ее историей, ее культурой, ее народом. В этом чувстве много прямо противоположного тому, что воспитывала до войны партийная власть. Вот как об этом пишет Юлия Нейман в стихотворении «Тысяча девятьсот сорок первый» («Литературная Москва» № 2):

**«Москва тех дней... Крутой накат событий...  
Не счесть утрат, не описать невзгод.  
Но, сверстники, душою не кривите:  
Он был, как факел, — чистый этот год!**

Как штукатурка, сыпались уловки,  
И, в силу обнажившихся причин,  
В год затемнения и маскировки  
Мы увидали ближних без личин.  
И, отшвырнув сомнительные меры:  
Анкеты, стажы, должности, лета,  
Мы полной мерой храбрости и веры  
Измерили, чем жизнь была чиста.  
И нам, свидетелям, до ныне святы  
И дышат в нашей памяти поднесь  
Дежурства, крыши и аэростаты —  
Московских буден взрывчатая смесь...  
Фасадов камуфляжное убранство,  
Симфония отбоев и угроз,  
И это чувство гордого гражданства,  
Впервые пережитое всерьез».

О том же, но еще определеннее в смысле отношения к власти, пишет А. Межиров в стихотворении «Так уходили в бой» (сборник «Возвращение»):

«Нам до конца не забыть этих дней,  
Когда, незажившие раны терпя,  
Мы стали мужественней, сильней,  
Лучше самих себя».

Что это за довоенные «незажившие раны», с которыми уходили на фронт советские люди, читатель отлично понимает.

Война зажгла в солдатах огонь «гордого гражданства», а вместе с ним надежды на лучшую, иную жизнь после победы.

А. Сурков пишет об этом новом сознании человека-солдата:

«Лаской, Родина, душу его охрани,  
Чтоб тоска негасимый огонь не украла».

В рассказе А. Меркулова «Зимнее серебро» («Наш современник» № 1, 1956 г.) говорится о солдатах после победы:

«Не пушки, не армию, не вещи везли тогда поезда обратно — а мечты людей».

Фронтовики после войны думали, что враги побеждены, воевать больше не с кем и что ждет их мирная человеческая жизнь. В романе Э. Казакевича «Дом на площади» («Литературная Москва» № 1) о фронтовике-капитане говорится:

«Молодой человек, искушенный в военном деле... искренне полагал, что врагов больше нет».

В повести З. Рудской «Рядом с нами» («Октябрь» № 10, 1956 г.) описан офицер-ветеран Дерябин:

«Он слишком много видел и испытал в военные годы, чтобы злобиво спорить, бездумно смеяться, в полсилы любить и ненави-

деть. Он был полон энергии и замыслов и готов всеми силами бороться за прекрасную, справедливую мирную жизнь, потому что после такой войны, после таких страданий жизнь должна быть только прекрасной и справедливой».

По-иному смотрели на свою жизнь и на жизнь человека вообще люди войны. Вот как описывает думы фронтовика Меркулов в рассказе «Зимнее серебро»:

«Арсеньев думал, очень много думал. Он стал теперь думать о том, что такое личное счастье. Очевидно, одной работы мало, нужно еще что-то свое, личное, такое, что было бы дорого только ему одному... Как ни малы люди, но они ярче, чем звезды».

Что вышло из надежд людей с войны на «ласку», что вышло из «мечтаний», из ожиданий личного счастья, «мирной справедливой жизни» — советскому читателю отлично известно.

В рассказе «Мир» Ю. Яновского («Знамя» № 5, 1956 г.) ветеран-колхозник жалуется на жизнь:

«Пойми же мое горе... Я герой! Я державы брал! Германскую империю на колени ставил!.. А он меня на свинушник!»

В рассказе С. Кружилина «Жизнь сызнова» колхозница рассказывает о ветеранах-коммунистах:

«Поначалу-то они горячо взялись. Председатель — фронтовик, бригадир — фронтовик, на складе — тоже... А потом видят, что общее-то хозяйство поднять не легко — притихли. Пригреб каждый свое гнездышко и сидит».

Это в колхозной деревне. В городе не лучше. В очерке А. Злобина «Правда, которую я скрывал» («Литературная Москва» № 1) директор большого машиностроительного комбината, говорит:

«Вначале, после демобилизации, я тоже был горячим, пробовал спорить. А потом как-то свыкся, успокоился... Вот вы жалуетесь на отсутствие прав...»

В очерке Н. Сергиевича «Начало» («Наш современник» № 3, 1956 г.) рассказывается о ветеране-партизане, которого «гитлеровцы чуть не расстреляли»:

«Почему он озлобился после войны — никак не пойму! Наверно, от наших незадачливых дел».

Разная судьба досталась советским ветеранам: немало их попало в лагеря, другие озлобились, третьи «свыклись», четвертые «притихли» и «сидят», иные все еще жалуются — «он меня на свинушник!», но вряд ли у человека с войны прошла обида на власть, укравшую у него победу; к довоенным «незажившим ранам» прибавились раны послевоенные. После смерти Сталина надежды на перемены воскресли. С этими надеждами живут сегодня миллионы фронтовиков, связанные общим прошлым и общими интересами.

«Разве не связывает однополчан кровная ниточка, не подвластная ни времени, ни расстоянию?» —

говорит майор Мельников в повести А. Былинова «Рода уходит с песней» («Новый мир» № 7, 1957 г.).

Отличают человека с войны иные качества его души, рожденные в горниле сражений, страданий, побед, те самые качества, которых так испугалась после войны партийная диктатура. К. Симонов в стихотворении «Друзья сорок первого года» («Литературная Москва» № 1), вспоминая самый тяжелый год войны, пишет об этом:

**«Не чтобы ославить кого-то,  
А чтобы изведать до дна,  
Москва сорок первого года  
Нам меркой душевной дана.  
Пожалуй, и нынче полезно,  
Не выпустив память из рук,  
Той меркой, простой и железной,  
Обмерить кого-нибудь вдруг!»**

Сознание своей силы и своей ответственности перед погибшими товарищами, ответственности за судьбы Родины возрождаются в многомиллионной семье фронтовиков. Именно это новое сознание человека с войны слышится в стихотворении Я. Хелемского «Вечер фронтовых друзей» («Знамя» № 5, 1956 г.):

**«Мы вспомним их и снова присягнем,  
Что будем жить не глухо, не бескрыло,  
А так, как все мы жили под огнем,  
Где нормой было высшее мерило».**

Об этом «высшем мериле» говорится и у Дудинцева в романе «Не хлебом единым»: «Думать сперва о солдатах, а потом уже о себе».

## З/К

О человеке советского лагеря, о заключенном в советской литературе написано мало. В тридцатые годы — после открытия Беломорканала, в период так называемой «перековки», появилось несколько очерков, пьеса Н. Погодина «Аристократы» о заключенных-уголовниках. Во время войны бывший заключенный попал в герои пьесы Л. Леонова «Нашествие» и одного из рассказов А. Толстого.

Не сразу появился в художественной литературе житель «страны з/к» и после ликвидации Берия. Только после доклада Хрущева на закрытом заседании 20-го партсъезда тема о заключенном прорвалась в литературу. В редком номере советских журналов 1956—57 года не встретишь произведения, в котором так или иначе не рассказывалось бы о судьбе заключенного.

Тема о советском заключенном обычно раскрывается в плане «по эту сторону» — вне лагеря и тюрьмы, через семью заключенного, через его арест или его возвращение из лагеря. Преисподняя советского ада все еще ждет своего Данте.

Но тот факт, что редкое произведение обходится без арестованного или заключенного, показывает, что советские писатели стараются, в меру возможностей, осветить хотя бы отраженным светом величайшую трагедию десятков миллионов людей.

Александр Твардовский заключенному посвящает большое стихотворение «Друг детства» («Литературная Москва» № 1, 1956):

**«Я знаю, если б не случиться  
Разлуке — горшей из разлук,  
Я мог бы тем одним гордиться,  
Что это был мой первый друг,  
Но годы целые за мною,  
Весь этой жизни лучший срок,  
Та дружба числилась виною,  
Что мне любой напомнить мог...»**

Друг поэта был когда-то безвинно арестован и все эти годы поэта мучила совесть; мучает и сейчас — видимо, за то, что только теперь, с разрешения начальства, заговорил об этом. Поэт, явно, оправдывается:

**«И, не кичась судьбой иною,  
Я постигал его удел,  
Я с другом был за той стеною  
И ведал все и хлеб тот ел».**

Поэт старается уверить, что его заключенный друг такой же сын родины, как и он сам :

**«И те же радости и беды  
Душой сыновьей ведал он:  
И всю войну, и День Победы,  
И дело нынешних времен.  
Я знал: вседневно и всечасно  
Его любовь была верна.  
Винить в беде своей бесгласной  
Страну? При чем же тут страна!  
Он жил ее мечтой высокой,  
Он вместе с ней глядел вперед.  
Винить в своей судьбе жестокой  
Народ? При чем же тут народ!»**

Но кто виноват — поэт сказать еще не может.

Они встречаются на маленькой сибирской станции: друг детства после освобождения едет из глубины сибирской на запад, поэт во встречном поезде — на восток:

**«Все тоже в нем, что прежде было,  
Но седина, усталость глаз  
Зубов казенных блеск унылый —  
Словцо то нынче в самый раз,  
Ровесник-друг. А я то что же —  
Хоть не ступал за тот порог,  
И я, конечно, не моложе,  
Одно, что зубы уберег...»**

Поэт словно хочет сказать, что и на «воле» жизнь была не из легких.

**«— Ну, вот и свиделись с тобою.  
Ну, жив, здоров?  
— Как видишь, жив.  
Хоть не привычно без конвоя,  
Но так ли, сяк ли — пассажир  
Заправский: с полкой и билетом.  
— Домой?  
— Да, как сказать, где дом...  
— Ах, да. Прости, что я об этом...  
— Ну, что там, можно и о том.  
Как раз, как песне, пусть не новой,  
Под стать приходятся слова:  
Жена найдет себе другого,  
А мать... Но если и жива...»**

Друг поэта возвращается, как с того света — и в этой жизни у него все потеряно и вряд ли запоздалые извинения поэта могут его утешить. Это чувствует и сам поэт.

В 1937-м году у поэтессы Ольги Бергольц арестовали мужа — талантливого поэта Бориса Корнилова. Он погиб в лагере. Теперь О. Бергольц опубликовала «Стихи из дневников» («Новый мир» № 8,

1956). В стихотворении «Испытание» 1938-го года она пишет не о муже, а о себе:

«... И снова хватит сил  
увидеть и узнать,  
как все, что ты любил,  
начнет тебя терзать.  
И оборотнем вдруг  
предстанет пред тобой,  
и оклеветает друг,  
и оттолкнет другой.  
И станут искушать,  
прикажут: — Отрекись!  
И скорчится душа  
от страха и тоски.  
И снова хватит сил  
одно твердить в ответ:  
— Ото всего, чем жил,  
не отрекаюсь, нет! —  
И снова хватит сил,  
запомнив эти дни,  
всему, что ты любил,  
кричать: — Вернись! Верни...»

В другом стихотворении «Тот год», помеченном 1955 г., Бергольц пишет:

«И я всю жизнь свою припоминала,  
и все припоминала жизнь моя —  
в тот год, когда со дна морей, с каналов  
вдруг возвращаться начали друзья.  
Зачем скрывать — их возвращалось мало.  
Семнадцать лет — всегда семнадцать лет...»

И тут же, когда читатель ждет от женщины-поэтессы слов нежности, слов горя о любимом, безвинно погибшем на каторге, она говорит:

«Но те, кто возвращались, шли сначала,  
чтоб получить свой старый партбилет».

То же самое пишет и Маргарита Алигер в своей маленькой поэме «Правота» («Октябрь» № 11, 1956):

«Один товарищ юности моей,  
жестоко оклеветанный врагами,  
с работы снятый, исключен был нами  
из партии. Что может быть страшней!  
Давай уж хоть самой себе не лги,  
душа моя... Не поняли мы сразу...

Душа моя, забыть не можешь ты  
ту тяжесть, унижение и муку.  
Мы говорили: «Доля правоты...», —  
за их решенья подымая руку».

Свое «покаяние» Алигер заканчивает так:

**«И кто поймет, как стыдно было мне,  
что защитить его я не сумела».**

Друга освободили через семнадцать лет, а Алигер восклицает:

**«Спасибо тебе, партия, за это!»**

Вот с какой дрожью подходят писатели к теме о заключенном: Твардовский при встрече с освободившимся другом детства заикается от внутреннего стыда; Бергольц по инерции многолетнего страха члена семьи заключенного пишет о «партбилете», как о самом главном для вернувшегося из лагерного ада человека; Алигер, которой стыдно за то, что предала арестованного друга, благодарит «партию» за его освобождение, как когда-то благодарила ту же партию за расправу над ним.

Писатели, пишущие о заключенных не с личных позиций, касаются этой темы смелее.

Николай Сергиевич в очерке «Начало» («Наш современник» № 3, 1956) пишет:

«В 1937 году забрали, как врага народа. Кто-то наклеветал. Пришел из тюрьмы уже накануне войны и совсем другим человеком: молчаливым, слова от него трудно добиться».

Почти все писатели притворяются, что они верят, что причина арестов — доносы и клевета. А. Шаров в «Первом сражении» («Наш современник» № 4, 1956) пишет:

«Вскоре вирусологи понесли тяжелую потерю. По клеветническому навету были арестованы начальник экспедиции Лев Зильбер и участницы ее, беззаветно храбрые и преданные науке исследовательницы — Тамара Сафонова и Александра Шеболдаева».

Кое-кто из писателей пишет о терроре в соответствии с хрущевской установкой — винят Берия. Например, М. Руденко в романе «Ветер в лицо» («Нева» № 8, 1956):

«А можно ли считать случайным разоблачение Берия, пересмотр дел арестованных ими честных людей, возвращение Козлова... Немало покалечили душ, испортили жизни. И это вперед послужит нам наукой».

Но попадают произведения, в которых авторы называют некоторые действительные причины арестов. Например, у Н. Вирты в романе «Крутые горы»:

«— Я ведь три года отбыл.

— За что?

— С тока пять кило ржи унес. Вот так подошло, поверишь ли? Дома ни крохи, а ребята, словно тебе галчата, рты разевают есть просят...»

Смелее всего касаются темы о заключенном те писатели, которые раскрывают ее через переживания членов семьи заключенного. Так героиня романа В. Каверина «Поиски и надежды» говорит об арестованном муже:

«Никто, или почти никто, не говорит о нем. Его нет, он вычеркнут из мира действующих, думающих, живущих. Он — никто, человек без имени, личность, которую обходят молчанием».

Зинаида Рудская в повести «Рядом с нами» («Октябрь» № 10, 1956) пишет:

«— Я журналист... как и ваш муж. Я слышал, что он реабилитирован.

— Он оправдан посмертно... У него было больное сердце...

— А где Геннадий?

— Убит на фронте».

В этом коротеньком диалоге между журналистом и женщиной, у которой муж погиб на каторге, а единственный сын убит на войне, нетрудно уловить горькую иронию над властью с ее пресловутой «реабилитацией» ею же замученных людей.

А вот как пишет о трагедии семьи заключенного С. Антонов в рассказе «Анкета» («Литературная Москва» № 1, 1956):

«Вспомнился давнишний случай с женщиной, которую долго не принимали на работу, потому что муж ее... был арестован. Женщина написала о своих мытарствах куда следует и бросилась в реку».

О той же трагедии миллионов советских семей рассказывает Каверин в «Поисках и надеждах»: жена арестованного пишет в своих записках:

«Точно надо мной возник невидимый знак, заставляющий одних обходить меня на почтительном расстоянии, а других — относиться ко мне с необъяснимым предубеждением и даже, может быть, страхом...»

Она мысленно разговаривает с сыном:

«Как я скажу ему, что арестован отец — отец, который как герой „Давида Сасунского“, всегда был для него образцом гордости и чести. „Ведь отец не виновен, да, мама?“ — „Конечно“. — „И он объяснит им, что не виновен?“ — „Да“. — „Почему же они ему не поверили? Как они смели ему не верить!“»

Я вернулась в свою комнату, и снова пошли чередой ночные беспокойные мысли и чувства. Все те же, но и еще одно: гордость за сына. И не ради себя, нет, ради него я вдруг потребовала — сама не знаю у кого, у судьбы, у доли, у счастья: — чтобы дверь распахнулась и вошел Андрей... Пусть он войдет, если есть на свете справедливость и честь, которой верят и без которой не могут жить наши дети. Пусть он войдет, или дайте мне умереть, потому что я не хочу жить, обманываясь и теряясь и трепеща от страха, что может победить подлость — подлость и ложь».

Та же трагедия в романе А. Югова «На большой реке» («Октябрь» № 12, 1956):

«— Мама! — и слезы пробиваются в голосе. — А что, если я письмо напишу, может простят папку?..

Знала, знала Наталия Васильевна, что непоправимое уже переступило порог этой комнаты, и всячески береглась, чтобы как-нибудь ненароком не дунуть на это маленькое пламя жизни, угасающее в худеньком тельце. И все-таки не выдержала она:

— Не за что его прощать! — выкрикнула она. — Ни в чем твой папка не виноват!»

Когда читаешь об этой умирающей от горя девочке, про отчаяние героини романа Каверина, невольно думаешь: неужели писатели надеются разжалобить стоящих у власти? Может быть, поэтому и Твардовский, и Бергольц, и Алигер и другие пишут о страданиях только партийцев, уверяют, что заключенные в лагерях — патриоты и верные партийцы, а когда кого-нибудь из них освобождают, благодарят за это «партию»? Если это так, то как удивительно коротка человеческая память! Разве не тот же Хрущев, разве не те же Микоян, Ворошилов, Булганин, Суслов и другие, ныне стоящие у власти, разве не они принимали самое близкое участие в кровавой расправе над миллионами людей, разве не обрекали они детей, женщин, стариков на нечеловеческие страдания и гибель? Разве не тот же Хрущев в июне 1937-го года в самый разгар ежовщины кричал с трибуны на Пятой Московской областной партконференции:

«Наша партия беспощадно сотрет с лица земли всю троцкистско-правую пададь! Мы без остатка уничтожим врагов — всех до последнего — и развеим по ветру их прах!»?

Разве не Хрущев хвастался на 18-ом партсъезде:

«Наши успехи должны еще больше заострить нашу зоркость и отточить наше оружие для беспощадного уничтожения врагов... Украинский народ, разгромив врагов и предателей, еще теснее сплотился вокруг большевистской партии и вокруг нашего великого вождя Сталина».

Разве не Микоян, захлебываясь от усердия, говорил на торжестве, устроенном в честь двадцатилетия ВЧК-ОГПУ-НКВД в том же кровавом 37-ом году:

«НКВД — это организация, наиболее близкая всей нашей партии. Двадцатилетие ВЧК-ОГПУ-НКВД — праздник нашей партии! Учитесь у товарища Ежова сталинскому стилю работы... Товарищ Ежов создал в НКВД замечательный костяк чекистов».

Разве в тот день не Ворошилов поздравлял чекистов в своей телеграмме:

«Желаю вам, товарищи, полного успеха в вашей нелегкой, но почетной и славной работе на благо нашей Родины, на благо социализма».

Но, может быть, советские писатели все это помнят и пишут не этим подручным Сталина, а другим, тем, кто помоложе, чья совесть

не так обремена преступлениями? А, может быть, писателями движет иная надежда — надежда на человеческое в людях: надежда на то, что доброе слово о страдающем человеке не пропадет даром и даст свои всходы среди миллионов читателей, среди которых подрастают и те, кто завтра будет вершить судьбы народа и страны?

О тюремной и лагерной жизни репрессированных написано очень мало. У В. Дудинцева в «Не хлебом единым» Лопаткин скупно рассказывает о своей лагерной жизни и произносит знаменательные слова: «кто научился думать, того полностью лишить свободы нельзя». В романе Каверина о лагерной жизни рассказывает в письме освободившийся з/к к жене заключенного:

«Глубокоуважаемая Татьяна Петровна!

Это пишет вам человек незнакомый, хотя и не совсем, поскольку Андрей Дмитрич не однажды рассказывал мне о вас. Мне шестьдесят лет, я по профессии слесарь-инструментальщик и недавно вернулся с Печоры... Считаю своим долгом написать вам о нем... Он работает врачом в больнице, но вы, наверное, не знаете, как много несчастных, находящихся в безвыходном положении людей, обязано ему своей жизнью... буквально сотни людей, тяжело страдающих от цынги и пеллагры. Я лично находился настолько в безнадёжном положении, что окружающие уже махали на меня рукой, как на труп, но Андрей Дмитрич поил меня из собственных рук и выходил, как ребенка...

Он здоров, хотя иногда мучается головными болями... Валенки я ему самолично подшил, а на минувших праздниках нам выдали теплое обмундирование, то есть бушлат, рукавицы, шапку и ватные брюки. Андрей Дмитрич... много читает, то есть насколько это возможно..., нуждается в махорке, которой у нас была постоянная нехватка...

Я вам только еще скажу, что в моем лице вы имеете верного друга, всегда готового пожертвовать для вашего семейства всем и даже самой жизнью...

Остаюсь всецело вашим:

Алексей Морозов.

Еще забыл написать, что Андрей Дмитрич придумал гнать спирт из ягеля, годного до сих пор лишь для оленьего корма, так что не удивлюсь, если он оставит на Печоре целую промышленность, весьма полезную для нашей страны».

Из этого письма потомственного рабочего (с фамилией знаменитого шлиссельбуржца Морозова), вернувшегося после многолетнего заключения, можно многое понять о жизни советского з/к: смерти от недоеданий и авитаминозов, самоподдержка, дружба на всю жизнь; рабский труд и творчество; тяжелые размышления — до головной боли, и вера в будущее. Есть в письме и намек на то, что заключенные создали многое из тех индустриальных ценностей, которыми теперь все гордятся.

Именно поэтому А. Вальцева в рассказе «Квартира № 13» так описывает заключенного, вернувшегося после семнадцати лет к жене, прожившей все эти годы в тоске и страхе:

«Зоя Ивановна сидела рядом с мужем, и меня поразило, что он

выглядел моложе ее. Он седой, но лицо у него загорелое, а самое главное — он живой, не сломленный. Руки у него грубые, рабочие».

Таким, по-сути, описывает и В. Дудинцев своего Лопаткина. Есть общее и в мыслях, выношенных ими обоими на каторге. Про вернувшегося из лагеря Лопаткина у Дудинцева сказано:

«На месте его сидел каменно-твердый исполнитель долга, глядящий сквозь пальцы и на смерть и на жизнь».

У Вальцевой жена о вернувшемся муже говорит:

«— Мой муж отдыхать не собирается. Нам отдыхать рано. Еще сделаны не все дела».

Смысл этих слов невольно напоминает смысл, который вкладывали фронтовики в слова известной «Песенки фронтового шофера»: «Помирать нам рановато — есть у нас еще дома дела».

Из всех писавших о заключенных только у Дудинцева и у Вальцевой з/к возвращаются из лагерей с твердым решением бороться. Правда, Павел Нилин в повести «Жестокость» изображает арестованного с еще более сильным характером; при этом показывает его не после освобождения, а в комнате следователя во время допроса:

«— Не хочет отвечать на вопросы, — доложил я. — Даже фамилию не говорит.

— Забыл, выходит, с испугу? — начальник шагнул к арестованному и вдруг рывкнул: — Встать!

Арестованный не пошевелился.

— Кому говорят? Встать! Ну!

Арестованный поднял голову и глаза его засверкали бешенством.

— Гляди-кось, какой боров. Ты меня сперва запряги, а потом по-нукивай.

— В угловую его, отдельно, — приказал мне начальник. — И не кормить, пока не вспомнит фамилию и прочее...

Начальник ушел и хлопнул дверью так, что она заныла на пружинах.

— Ты бы, правда, встал, — как бы посоветовал арестованному Ванька. — Это же начальник.

— Это он вам, легавым, начальник, — пошевелил бородой рыжий. — А мне на него...»

Один из следователей грозит арестованному расстрелом — «будешь валяться на снегу».

«— Все там будем валяться, — почти спокойно откликнулся арестованный. — И вам этого дела не избежать... Вот помяните мои слова... И за мою душу ответите. И начальник ваш ответит, седой боров. Не отвертится. Вы еще поплачете, сучьи дети. Вся контора ваша поплачет горькими слезами».

Сравнивая этого арестованного сибирского крестьянина с другими заключенными в литературе, невольно приходишь к выводу: кто-кто, а крестьянство, простой человек никогда не простит партийной власти

тех мук, на которые эта власть его обрекла. Конечно, большинство таких людей, как этот крестьянин, были истреблены, как «активные противники» диктатуры. Но можно не сомневаться, что среди нового поколения советских людей, не знавших страшных лет сталинщины, такие люди подрастают.

О жизни заключенного в лагере пишет Борис Пастернак в своем романе «Доктор Живаго», издание которого опоздало в 1956 году и было запрещено, но который в 1957 году вышел в Милане по-итальянски. В эпилоге романа дан разговор друзей героя романа — профессоров Дудорова и Гордона.

«— Мы попали в один из самых ужасных лагерей. Мало кто, из попавших туда с первых дней, выжил. Мы были первыми. Нас вытолкнули из вагонов. Снежная пустыня и вдали лес. Конвой, угрожающие дула ружей, овчарки. Потом, через равные интервалы, прибывали новые группы заключенных. Их выстраивали треугольниками среди поля спиной друг к другу, чтобы один не видел другого, приказывали стать на колени и под угрозой расстрела запрещали смотреть по сторонам. Начиналась унижительная, бесконечная процедура переклички. Она длилась часами, все время на коленях. Потом поднимали. Одних уводили, а другим, оставшимся, объявляли: „Вот ваш лагерь. Устраивайтесь, как можете“. Это было в снежном поле, под открытым небом. Среди поля стоял столб с надписью: „Лag № 92“. Больше ничего.

— Нам посчастливилось. Я попал во второй период лагерного бытия, по другой статье и в других условиях... Меня освободили по амнистии... На войну я был призван в чине майора и в отряд смертников, как ты, не попал.

— Столб с надписью „Лag. 892“ и ничего больше, — продолжал погруженный в свои мысли Гордон. — В первые дни мы в мороз голыми руками ломали еловые ветки для шалашей. И вот, не поверишь, понемногу все-таки устроились. Построили бараки, ограду, карцеры, вышки для часовых... Работали в лесу, на лесоповале, впрягались по восемь человек в сани или носили стволы на плечах, утопая в снегу по грудь. Мы долго не знали, что началась война. Скрыли от нас. И вдруг предложение начальства: кто хочет, может идти на фронт в батальон смертников — если останется жив, будет освобожден... Потом атаки, атаки, километры колючей проволоки с электрическим током, мины, гранаты, месяцы и месяцы адского огня. Нездаром нас называли смертниками. Перебили почти всех до последнего. ...И все-таки этот ад в сравнении с лагерем был счастьем, не в смысле лагерного быта, а в другом каком-то смысле.

(Перевод с итальянского).

Если судить по художественным произведениям 1956-57 г. из лагерей выходят или такие, как слесарь Алексей Морозов — в романе Каверина, или как инженер в повести А. Чаковского «Год жизни» («Октябрь» № 8, 1956):

«Когда-то Хомяков был начальником строительства... Его судили... И вот уже давно кончился этот срок, а человек все время чувствует себя свободным только „до поры до времени“. И ничего путного из него уже не получится».

Промежуточный тип составляют люди, подобные герою романа Каверина, Андрею Львову:

«Андрей вернулся таким, как будто гроза, или половодье, или другое явление природы заставило его терпеливо, на том берегу реки, дожидаться возможности переехать на этот, где его ждала семья, жизнь, работа. С поразившей меня сумрачной силой он по--старался отстранить от себя все, что мешало ему остаться самим собой. Но все-таки что-то мешало. „Ведь я не из тех, — с горечью сказал он однажды, — кто способен каждый день шагать через пропасть”. Он был оскорблен болезненно, остро, и хотя никто не услышал от него ни жалобы, ни упрека — я знала, что он оскорблен и что ему мешает жить это чувство. И ни я, ни Рубакин... не сумели возвратить ему подлинную душевную бодрость».

Но читатель знает, что большинство таких з/к, как Андрей Львов, за годы заключения потеряли все — на «этом берегу» их не ждали «семья, жизнь, работа» — и вряд ли они когда забудут об этом, вряд ли простят это.

О сломленных лагерем и страхом людей пишет Ю. Нагибин в рассказе «Хазарский орнамент»:

«Люди, которые так сроднились с бедой, с памятью о беде, ну, как больной свыкается с болезнью. Они столько лет... загоняли внутрь себя все живое, искреннее, смелое, что теперь никак не решаются жить в открытую. Понять это можно, а только грустно это».

И все-таки думается, что таких не большинство — большинство з/к возвращается из лагерей, как каверинский Алексей Морозов; не мало среди них и лопаткиных и таких, как герой Вальцевой — «нам отдыхать рано — еще сделаны не все дела»!

Во второй половине 1957 года тема заключенного стала заметно исчезать из советской литературы, особенно после сороковой годовщины ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-КГБ, но тем не менее советским писателям удается кое-что печатать на эту тему. Например, в журнале «Октябрь» № 10, 1957 г. было напечатано лагерное стихотворение «Нары» Евг. Винокурова:

О нары, царственное ложе,  
где можно выпасться в тепле,  
не мягко спать, но лучше все же,  
чем просто на сырой земле!  
Я молодым, бритоголовым  
столбы для нар в суглинок врыл.  
Тяжелым лапником еловым  
я слеги свежие покрыл.  
Здесь ночью, завалившись скопом,  
храпела с вывертом брата,  
как подобает землекопам,  
не раскатавши рукава.  
Здесь, бредя, издавали стоны,  
болтали явственно вполне,  
причмокивали, как сластены,  
и даже плакали во сне.

А то, как вдруг хвороба злая  
возьмет,

не скажешь: замолчи!

И кашляя, как будто лая,  
зайдется кто-нибудь в ночи.

Здесь с терпеливостью похвальной,  
лишенный ласкового сна,  
над печкой скрюченный дневальный  
сушил портянки докрасна.

Здесь заспанные, вроде пугал,  
друзья вставали, как с одра,  
и шлепали босыми в угол,  
чтобы напиться из ведра.

Здесь трудно повернуться боком,  
в еловых сучьях здесь настил...

Здесь о прекрасном и высоком  
я прежде, чем уснуть, грустил.

Что это за «прекрасное и высокое», о чем может мечтать заключенный на нарах в бараке — понятно каждому: Свобода и справедливая жизнь!

Именно о делах свободы и справедливости, которые «сделаны не все» и говорит героиня рассказа А. Вальцевой.

## „Органы“

Ликвидация верхушки МВД-МГБ во главе с Берия, подчинение урезанных «органов» партийному контролю «на местах», а также введение некоторой законности — все это не могло не найти своего отражения в литературе. Но советскую литературу слишком долго били по голове железной палкой «органов» — к теме об «органах» писатели подходят с оглядкой и опаской. И это понятно: почти все лучшие советские писатели окончили свою жизнь в подвалах или лагерях НКВД-МВД, большинство оставшихся в живых так или иначе имели дело с вежливыми следователями с глазами убийц.

Только через три года после ликвидации Берия в литературных произведениях стали появляться фигуры чекистов, но, как правило, в эпизодических ролях, и чаще под другим именем — под видом «военной прокуратуры» («Не хлебом единым» В. Дудинцева), работников милиции или так называемых доносчиков. Нет в художественных произведениях и слова о самой «работе» «органов», о «запрещенных методах следствия», о которых глухо писала официальная печать.

Советский читатель, кроме привитого ему страха перед «органами», знает и самое суть партийной диктатуры — писатель, как многие в СССР, боится скорого возрождения могущества «органов».

Не случайно во второй половине 1957-го года тема об «органах» стала исчезать из советской литературы.

Но в произведениях 1956-57 . об «органах» написано не мало. Самым значительным произведением такого рода, несомненно, является повесть Павла Нилина «Жестокость» («Знамя» № 11 и № 12, 1956). Есть в ней нечто общее с романом А. Кестлера «Мрак в полдень».

Автор для перестраховки не называет «органы» по имени — ни ВЧК, ни ОГПУ, он скрывает их под именем «отдела борьбы с бандитизмом». Но читатель отлично знает, что борьбой с бандитизмом в первые годы после Октября занималась ВЧК. Да и сами герои повести — чекисты — говорят о себе:

«Мы работаем в органах. В каких органах? В органах Советской власти».

Герой повести молодой комсомолец — чекист Венька Малышев — глубоко верит, что советская власть принесет людям счастье, что она победит своей внутренней правдой. Его дружок говорит ему:

«— Ты, Венька, все берешь в идеальном виде. А если в идеальном виде все брать, то нас всех до старости нельзя будет принять в коммунисты».

Венька же убежден, что «советская власть без обмана проживет. Ей обман не нужен». Трагедия чекиста Веньки, как ее показывает Нинлин, заключается в том, что он —

« всю свою молодую жизнь боролся за правду. Он был против всякого обмана и боролся только за правду ».

Именно поэтому среди чекистов он выглядит белой вороной. Он даже об арестованном «враге народа» — крестьянине Лазаре Баукине говорит по-человечески:

«— Мужик занятный. Голова у него забита всякой чепухой, а сам неглупый. Сегодня мне говорит: ежели сибирские мужики эту власть не полюбят, она тут ни за что не удержится. Хотя пять лет простоят, хоть десять, но все равно не удержится ».

Начальник предлагает Веньке «закончить» побыстрее с арестованным, а Венька старается понять арестованного:

«— Я веду допрос. Вот я так сижу, а вот так арестованный. Он один. За ним уже ничего нет. А за мной закон, государство со всеми пушками, пулеметами, со всею властью. Чего я буду сердиться на арестованного?».

Венька человечен и умен. Арестованному крестьянину он дает возможность бежать. Даже пойманному главарю банды Воронцову Венька развязывает руки, несмотря на то, что остальные чекисты боятся, что тот «уйдет».

Атамана банды, собственно, поймали не чекисты и не Венька, его связали и выдали крестьяне во главе с Баукиным. Тут-то и начинается конфликт между молодым идеалистом Венькой и его начальством: начальство приказывает расстрелять и пойманного атамана и выдавших его Веньке крестьян:

«— Смотри, у начальника заговорила совесть, если он хочет представить тебя к награде.

У Веньки по лицу прошла как бы тень улыбки.

— Если бы у него была совесть, она бы, может, заговорила. Но у него нету никакой совести. Я это сейчас хорошо понял. Ты знаешь, чего он хочет? Он хочет, чтобы мы все это дело оформили так, будто это не Лазарь Баукин повязал Воронцова, а мы повязали и Воронцова, и Баукина, и всех остальных... Мне сейчас стыдно перед Лазарем так, что у меня прямо уши горят и все внутри переворачивается! Выходит, что я трепался перед ними, как... как я не знаю кто! Выходит, что я обманул их! Обманул от имени Советской власти! Какими собачьими глазами я буду теперь на них смотреть? А начальник говорит, что этого требует высшая политика...

— Какая политика?

— Вот я тоже сейчас его спросил, какая это политика и кому она нужна такая политика, если мы боремся, не жалея сил и даже

самой жизни, за правду. За одну только правду! А потом позволяем себе вранье и обман. Он говорит, я тебя представлю к награде и всех представляю, а иначе нас, мол, не за что награждать. А я ему говорю: нет, вы лучше выдайте мне другие глаза, чтобы я мог смотреть на вас и на все и не стыдиться... Нет, я не могу теперь... — задрожал он еще сильнее. — Я в холуях сроду не был! Я никогда не стану холуем! Никогда!»

Раздался выстрел.

«Я поднял голову. У Веньки из виска била толстая струя крови».

Венька пустил себе пулю в лоб после того, как понял, что его обманули — не начальство, а власть, в которую он верил; после того, как понял, что его превращают в кровавого «холуя» этой власти.

Философию обмана, насилия, убийства ради «государственных интересов» выражает в повести Узелков — партийный журналист «при органах» — читателю нетрудно догадаться, что именно Узелков и ему подобные в дальнейшем заменят в «органах» таких, как Венька:

«— Что ты можешь понять о том, что такое правда и что такое, как ты выражаешься, вранье... У тебя империческая смесь в голове... И, кроме того, ты заражен так называемой христианской моралью. Ты читал тезисы по антирелигиозной пропаганде?

— Ничего я не читал. Но я вижу, ты все стараешься подогнать под какие-то тезисы... Если у тебя есть совесть...

— Совесть? Что касается совести и всякого правдоискательства, так я это предоставляю таким вульгаризаторам, вроде тебя... Меня христианская мораль не интересует.

— А что такое христианская мораль?

— Христианская мораль — это прежде всего запугивание человечества всеильным божеством. Церковники внушают верующим, что если человек украдет, солжет или сделает какую-нибудь подлость, его обязательно накажет Бог. То есть внушают такую мысль, что человек должен вести себя благородно под страхом божественного наказания. Под постоянным страхом...

— А если Бога нет, значит, можно врать и обманывать? — спросил Венька».

Из этого вопроса Веньки читатель делает вывод: партийная власть уничтожила христианскую, человеческую мораль, чтобы было «все дозволено», а когда увидела, чем грозит это для нее самой, стала насаждать через «органы» свой страх.

Разговор между Венькой и Узелковым продолжается:

«— Если бы вы читали тезисы..., вы бы так не рассуждали... В политических интересах надо сурово наказать одного, чтобы на этом примере научить тысячи.

— Так, значит, ты, Узелков, считаешь, что можно сурово наказать даже не сильно виноватого, лишь бы кого-то там научить? А это будет чья мораль?

— Я морали сейчас совсем не касаюсь. Мы говорим о более серьезных вещах.

— Вот ты какой! — оглядел Узелкова Венька. — А с виду тихий.

А что, если тебе самому сейчас пришить дело? И потом начать всех учить на твоём деле?..»

В последних Венькиных словах слышится намек на то, что такая именно судьба и постигла всех этих узелковых, ежевых, берия, абакумовых.

После разговора с Узелковым Венька не может успокоиться:

«— Не может быть, что есть какие-то тезисы, по которым надо врать и наказывать невинного, чтобы чего-то такое кому-то доказывать. Не может этого быть. Я считаю — врать — это значит всегда чего-то бояться».

Нетрудно уловить смысл и этих слов: страшные преступления «органов» в своей основе имели страх партийной диктатуры перед народом. Дальше Венька развивает эту свою мысль: политика террора — результат скрытого сознания правящим коммунистическим слоём своей неправды:

«— Это буржуйам надо врать, потому что они боятся, что правда против них, потому что они обманывают народ в свою пользу... Он мне тычет христианскую мораль, намекает вроде, что я за попов. И я немножко теряюсь. А он держится перед нами, как заведующий над всей советской властью. И как будто у него есть особые права...»

— Да ну его, он трепач!

— Нет, он не трепач, — возразил Венька и добавил задумчиво: — Он, пожалуй, ещё похуже, если в него вглядеться...»

Так говорится в повести «Жестокость» об «органах», которые пришли на смену идеалистам-венькам. В конце повести автор делает от своего имени обобщение:

«Я вспомнил, как Венька любил говорить, что мы отвечаем за все, что было при нас. Нет, неверно, мы должны отвечать и за то, что будет после нас».

Это обобщение говорит само за себя: все беды и страдания, которые принесли сорок лет партийной диктатуры, берут свое начало в идеализме таких комсомольцев и коммунистов, каким был комсомолец Венька Мальшев.

Есть в повести и другие типы чекистов: венькин начальник, для которого самое главное — «порядок, главным же признаком порядка — он считал тишину». Оправдание своих преступлений такой начальник видит в приказах высшего начальства:

«— Ничего не знаю, ничего не знаю. Руководящим товарищам виднее, кто кого убил».

Типичен и чекист-зверь Иосиф Голубчик. Он не совсем «пролетарского происхождения» — таких среди работников «органов» было не так уж мало. На замечание Веньки, что обман ради «государственных интересов» — по-сути предательство революции, Голубчик отвечает:

«— Ты закройся. Тебя вызовут тридцать второго. И ты мне контр-революцию не пришивай. И не бери на испуг. Тот, кто брал меня на испуг, давно на кладбище, а тот, кто собирается, еще не родился. Я подумал, что Голубчик, бывший гимназист, у которого родители имели до революции собственную торговлю, оттого и старается показать себя самым идейным, что боится, как бы ему не вспомнили, кто он такой».

Венька Малышев в повести Нилина — единственный «кающийся чекист» в советской литературе.

В других произведениях работники «органов» фигуры эпизодические, но и таких, как они изображены, прежде в советской литературе не было.

Вот как описан следователь московского управления НКВД, ведущий во время войны следствие по делу арестованного полковника санитарной службы, в романе В. Каверина «Поиски и надежды» («Литературная Москва» № 2, 1956):

«Через несколько дней после возвращения в Москву мне удалось попасть к следователю и он сказал, что письмо академика Никольского и других, „о котором вы, без сомнения, знаете“, получено и будет принято во внимание.

— Я очень рад, — он был очень вежлив, — что работа Андрея Дмитриевича получила столь высокую оценку со стороны видных ученых. — Он предложил мне папиросу и, когда я отказалась, сам неторопливо закурил. — Правда, это обстоятельство не имеет никакого отношения к его делу, но тем не менее...

Я спросила, когда будет окончено следствие, и он ответил, тоже очень вежливо, что нет оснований полагать, что следствие не уложится в срок, установленный законом.

— Передачи разрешены?

— Да.

— Переписка?

— Также.

Я спросила, можно ли в ближайшее время рассчитывать на свидание, и он ответил, что „ближайшее время — понятие неопределенное“, но, что если следствие закончится в так называемое „ближайшее время“, то вскоре последует и свидание... Злая ирония промелькнула в последних словах, и мне на мгновение стало страшно, что эта встреча со следователем, добиться которой было так тяжело, даже отдаленным образом не касается того, что произошло с Андреем, и представляет собой в сущности просто какую-то постыдную пустую игру... Я ушла от следователя с испуганно сжавшимся сердцем».

Предчувствие жены арестованного полковника, профессора Львова, не обмануло ее: никакого свидания она не получила, муж же вернулся из лагеря только через тринадцать лет — уже в 1955-м году.

В романе Г. Николаевой «Битва в пути» («Октябрь» №№ 4—7, 1957) описан начальник областного управления МГБ Корилов.

Корилов с компанией ответственных работников возвращается с охоты, время действия — незадолго до смерти Сталина:

«Тина зашла за консервным ножом в соседнее купе, где разместился Корилов с двумя своими сотрудниками. Здесь было жарко,

пахло табаком и вином. Корилов сидел в рубашке, распахнутой на груди. Красивое лицо его с ярко-синими глазами раскраснелось от жары и вина».

Корилов в это время рассказывал о своем бывшем сослуживце, расстрелянном во время одной из чисток:

«— Помню, помню я Володьку Голышева, — не замечая Тины, говорил он и лихо встряхивал волнистыми волосами. — Хват был парень! Любое дело поручи — двинет. Его тогда со всей этой компанией под горячую руку забрали... Потом разобрались... да уже поздно!

Он ребром ладони быстро провел по шее, точно разрезал ее, и вдруг, вскинув голову, захохотал странным, беззвучным, состоящим из частых придыханий, смехом. Он увидел Тину, прочел ужас в ее глазах, но не смутился, а только подобрался: выпрямился, застегнул ворот и спросил с горькой, снисходительной, почти нежной насмешкой взрослого над ребенком:

— Ну, что, испугались? Нет страшного на свете! Садитесь...

Кто он? Что он? Любопытство заставило ее сесть. Он угощал ее, шутил, даже пел густым баритоном. А ей хотелось дотронуться до его смеющихся и настороженных глаз. „Пусть закроет глаза. Тогда лицо станет усталым и измученным“.

Через час он стоял рядом с ней у окна коридора, опустил раму и по-мальчишески обрадовался:

— Овражек! Точь-в-точь, в каком я мальчишкой хоронился от бабки... Молодость. Начиналась она вот в такой деревушке над оврагом.

Он отрывочно рассказал ей о детстве и первой юности.

— А потом? — спросила Тина. Ей хотелось знать, как из деревенского паренька получился Корилов, которого приглашает на дачу Берия и побаивается даже секретарь обкома.

— А потом обыкновенно... — Корилов и заскучал, и засмеялся едким своим смехом. — Потом понесло, как вот этим поездом. Разобраться не успел, где и в каком вагоне, куда еду, а уже мчит!

— Разве плохо?

— Плохо ли, хорошо ли, но мчит! Куда денешься?

— Сойти, если не нравится.

— Не сойдешь! Спрыгнуть на ходу? Разобьешься. Миг — и нет тебя. Нет, ехать надо. Домчит же куда-нибудь! Будет же остановка!..

Из этого диалога не трудно понять, что не в чекистах дело, каких бы рангов они ни были, а в системе — она, система партийной диктатуры, породила и Корилова, и его начальника Берия, и им подобных.

Муж у Тины — Игнатий — председатель Облисполкома.

«Однажды, когда Тина кормила его поздним полуночным ужином, в открытое окно она увидела, как к соседнему дому бесшумно подошла глухо закрытая, темная машина. Игнатий встал и молча опустил шторы. Мягко опустившийся бархат отгородил уютную комнату от ветренной ночи, от чьего-то преступления, от чьего-то горя.

Утром Тина узнала, что арестовали группу инженеров того завода, на котором она проходила практику.

— Не понимаю, — говорила она.

— Зря у нас не возьмут, — говорил муж.

— Но были такие простые, такие свои... И вдруг враги, шпионы. Не верится...

— Ты не знаешь об этом потому, что другие взяли на себя это тяжелое знание! Предоставь же тем, кто знает, поступать так, как подсказывает им это знание».

Так говорил Тине муж, а через несколько дней он сам был арестован по обвинению в «защите шпиона». Тина добивается приема Кориловым, но тот ее не принимает. Ей удается пробраться к нему на квартиру:

«Корилов лежал на постели и просматривал газеты. Увидев ее, он отбросил газеты и приподнялся.

— Простите... Я должна была... Мы же знакомы... Я пришла... — Она видела, как секунду он колебался: позвонить, закричать, выгнать? Потом, очевидно, не желая скандала, откинулся на подушки.

— Да, я вижу, что вы пришли... даже ворвались. Ну что же, садитесь. — Он указал ей на пуф возле кровати. Она послушно села.

Он оглядел ее с ног до головы. Глаза его были ледяные.

— В конце концов это даже приятно... проснувшись, увидеть хорошенькую знакомую.

Казалось, он уже забавлялся ситуацией. Но точно рассчитаны им были каждый жест и каждая интонация. Потянувшись за папирсой, он коснулся рукой ее колена.

— Я пришла говорить о деле...

— Здесь я не говорю о делах! Если „на войне, как на войне“, то „в спальне, как в спальне“!

Он казнил ее за вторжение, казнил наиболее легким для него и наиболее оскорбительным для нее способом... Она не была для него ни знакомой, ни женой знакомого, ни женщиной, которая нравилась ему... Для него существовала сейчас лишь дерзкая просительница, которую надо было как можно беспощаднее казнить за невиданную дерзкость.

— Я пришла сюда... к вам, как к коммунисту, говорить о деле, которое для меня важнее жизни.

— Что касается дела... — он откинул одеяло и сел. В страхе и смятении она подумала, что он сейчас встанет при ней в одном белье, лишь бы наказать и оскорбить беспощаднее. Но он был в пижаме. — Что касается дела, то все ваши письма, заявления, а тем более подобные авантюры не принесут пользы... Скорее наоборот...

— Но речь идет о человеке, пострадавшем невинно!

— Если речь идет о деле, то вам надо сказать, что решаю не я, а закон и обстоятельства дела.

Он шел к двери, она загродила дверь и заторопилась:

— Я все понимаю... Я прошу об одном... скорее и тщательнее разобраться в этих обстоятельствах! Ведь невинно... четвертый месяц. Ни вести, ни передачи... Он не молод, нездоров, он ранен на войне! Он не вынесет!.. Кого просить? К кому идти? Ведь я всех молю сейчас об одном — ускорить разбирательство!

Он медленно ответил:

— Ускорить?.. Может быть, это придется сделать».

Начальник областного МГБ «ускорил» дело — вскоре Тине сообщили, что ее муж «умер неделю назад».

При всех подобных описаниях работников «органов» ни один пи-

сатель (за исключением Нилина, прибегнувшего к сравнительному методу) не рискует показать их за «делом» — все они в произведениях встречаются, так сказать, «по эту сторону» — с членами семей арестованных.

Так и в романе А. Югова «На большой реке» («Октябрь» № 12, 1956) во время ареста председателя райсовета:

«Кто-то вступил в сенцы. Топот ног. Вскрик матери „Ох!..“ Они уже перешагнули порог кухни. Их трое. Двое в тужурках, в кожаных фуражках, в сапогах... У одного тужурка оттопырена кобурой нагана. Третий солдат с винтовкой. Он сразу же стал у дверей, чтобы никто не мог выйти.

Наташка в испуге прижалась к отцу.

— Папка, вели им уйти!

Она так привыкла, что ее папка всех страшнее в городе и все ему повинуются. Заплакала. Отец успокаивает ее и толкает к Наталии Васильевне. Та обнимает девочку, прижимает к себе. Ноги у нее подкашиваются, она села.

— Вы гражданин Бороздин, Максим Петрович?

Бороздин усмехается: с этим товарищем они встречались не раз на партийных собраниях.

— Вы же меня знаете... — тихо говорит он.

— Гражданин! — повышает человек голос, делая его четким и злым. — Извольте отвечать на вопросы, а не пускаться в разглагольствования!

— Ну, что же! Пожалуйста! — и вдруг, добавляет почему-то: — А может быть, по чашке чаю?... Холод собачий. Продрогли, поди?

— Вы что, гражданин! — кричит старшой. — Вы эти шутки бросьте!»

Начинается обыск.

«Наконец выходят. Отец тоже с ними.

— Можете попрощаться с родными! — командует старшой и отворачивается.

Папка! Куда они тебя уводят! Не хочу я!.. Не дам!.. — уже в беспамятстве вопит Наташка.

У Бороздина трясутся руки. Дергается лицо. Он торопится закончить прощание.

— Ничего, ничего, Наташенька! — говорит он, ощупывая ее голову как слепой. — Я скоро вернусь... Слушайся маму!

Затем оборачивается к жене:

— Наташа, не плачь! Побереги девочек! Выяснится все, выяснится! Вернусь... Не бессудна земля!.. Прощай...»

Если прочесть все произведения, где встречаются подобные сцены, то нетрудно заметить, что все они повествуют о насилии «органов» над представителями правящего слоя: председателями райисполкомов, облисполкомов и т. п. — то есть в полном согласии с антисталинской речью Хрущева на 20-м партсъезде. Писать о том, что самые жестокие расправы совершались над миллионами крестьян, рабочих, простых служащих, рядовых членов партии писатели явно боятся. Но, хотя писатели и выполняют волю Хрущева, для которого важно заручиться поддержкой партийной верхушки: убедить их в том, что при нем, Хрущеве, с ними не случится такого, что было при Сталине,

— писателям все же удастся сказать об «органах» многое из того, что касается каждого советского гражданина.

Например, в романе В. Каверина «Поиски и надежды» о работнике «органов» говорится:

«Следователь не был обязан и не хотел листать какие-то бумаги, на которых не было... входящего номера, не говоря уже о подписи и печати. Это было опасно — ведь за бумагами он мог, чего доброго, рассмотреть человека. А что может быть опаснее человека?»

Когда после смерти Сталина начали лететь головы главных чекистов, а затем полетели со своих высоких мест и многие из тех, кто пользовался «органами» для своих и «государственных» интересов, большинство советских людей, несомненно, думали, как говорит герой того же романа В. Каверина:

«Да, это внушает надежду... Лиха беда начало, как говорится. Взялись за Скрыпаченко, доберутся и до других. Ох, поскорей бы!»

Этой надеждой советский человек живет и поныне.

Все советские люди работают — еще недавно «органы» вмешивались и в их работу. В романе Г. Николаевой «Битва в пути» у главного инженера тракторного завода во время рабочего дня раздаётся телефонный звонок:

«Взял трубку и не сразу узнал бархатный, ласкающий голос. Ему звонил начальник МГБ Корилов.

Корилов спросил запросто, почти дружески:

— Что у тебя там творится на заводе? Гробится программа?

— Идет переорганизация.

— А что с противовесами? Летят противовесы?

— Противовесы? Не знаю.

— Ты не знаешь, а я знаю. У тебя там на заводе два трактора с пробоинами. Почему систематически задерживаете подачу деталей на конвейер?

— Я не задерживаю детали, а ввожу комплексную сдачу деталей. Считаю это необходимым.

— А выполнение программы ты не считаешь необходимым?

Бахирев молчал.

— Так вот что, — тем же весело-дружеским тоном продолжал Корилов: — Ты скажи... ты там сидишь или стоишь?

— А что?

— Смотри, как бы тебе не сесть!»

Можно в подобных условиях нормально работать человеку? Г. Николаева недвусмысленно показывает в романе, что нельзя.

О том же пишет В. Каверин в своем романе «Поиски и надежды»:

«— Вчера посадили Верховцева.

— Не может быть! За что?

Верховцев был не просто скромный и честный, а скромнейший и честнейший человек, проработавший в институте профилактики чуть не четверть века.

— В институте это, кажется, уже десятый случай... Хотите, я вам скажу, кто их сажает? Сам директор.

— Зачем?

— Очевидно для престижа.

— Вы думаете?

— А почему бы и нет? Чего только не сделает подлец, чтобы оправдать свое существование.

— И такому человеку верят?

Все замолчали».

Каверин в отличие от Г. Николаевой, винит не столько «органы», сколько доносчиков. Вот как говорит в романе В. Каверина жена о муже-доносчике, оклеветавшем профессора Андрея Львова:

«— Андрея не могли не арестовать. Это было бы чудо.

— Как не могли?

— Очень просто. Подумайте сами: если три свидетеля, да еще всеми уважаемые, известные науке, в один голос утверждают, что он совершил преступление, — у кого же хватит смелости не посадить его? Тем более, что для того, чтобы посадить, никакой смелости не надо... Ах, если бы вы знали, как я его боюсь! Бывало спит — маленький, крепенький, бледный, голова торчит из-под одеяла, а я смотрю и не могу уснуть от страха, от отвращения... Вы не думайте, что кто-нибудь приходит и спрашивает: „А что, не посадить ли нам некоего доктора Львова?“ Это были разговоры обходительные, дальновидные. Материалы они подбирали, а притворяясь перед собой, что они тем самым оказывают государству большую услугу».

Каверин дает описание доноса:

«Не личная, нет, государственная заинтересованность была видна в каждой строчке на каждой странице... Отравленная ложь, хладнокровное, обдуманное убийство, разбитое на главы и подтвержденное множеством ссылок на авторитеты. Здесь было все — и расчет на невежество, и мнимая правдивость подробностей, и страшная логика кривды, почти непонятная, но бьющая в самую цель, в самое сердце».

Большинство писателей о доносах пишут так, словно виноваты в них доносчики, а «органы» не причем, но советский читатель отлично знает, что большинство доносчиков были секретными осведомителями «органов» и только исполняли их волю, и что доносительство вообще отравило страну в результате партийной политики «органов».

Смелее всего пишут писатели об «органах» времен Берия — опять же оглядка на Хрущева. О страшной ежовщине пишут сравнительно меньше. Например, В. Овечкин в «Трудной весне» («Новый мир» № 9, 1956) пишет:

«— В тридцать седьмом году ты мальчишкой еще был, голубей гонял, а если б тогда уже был в силе — ого! — чего бы ты по тому времени натворил! Не один десяток людей в тюрьму засадил бы!»

О новых Хрущевских «органах» пишут совсем немного, при том в уважительном тоне, правда, не забывая присовокупить «партийный

контроль». Так, у М. Алексеева в повести «Наследники» полковник Люлюх вежливо поучает следователя Отдела контрразведки:

«— Вы, очевидно, Игнатий Арсентьевич, хорошо знаете, что существуют на свете две непримиримые сестрицы: одну зовут Бдительность, а другую Мнительность. Характеры у этих сестриц разные, прямо-таки противоречивые. При всем этом они обладают внешним сходством. Нередко вторая выдает себя за первую. И тогда эта милая на вид сестрица становится весьма опасной. Остерегайтесь ее. Вот все, что я имел вам сказать, Игнатий Арсентьевич! — Люлюх протянул следователю руку. — До свиданья».

С кем из работников «органов» писатели не церемонятся — так это с теми, кто вышел в отставку (Ковалев в «Квартире № 13», А. Вальцевой) или кто направлен на гражданскую работу.

О последних пишет В. Овечкин в «Трудной весне» («Новый мир» № 3, 1956):

«В Надеждинскую МТС поехал зональным секретарем Холодов, присланный в район с ответственной работы в областном управлении МВД».

Вот что говорит о Холодове его начальник — директор МТС Долгушин:

«То он пытается встать надо мной в роли начальника политотдела, то превращается в мою тень...»

А вот что пишет о директоре МТС бывший эмведист Холодов:

«Показал донесение Холодова Троицкому райкому (копия Обкому КПСС) о „художествах“, как тот писал, директора Надеждинской МТС, где с хронометрической точностью были перечислены все ошибки и промахи, совершенные Долгушиным за время его работы в МТС».

Одним словом, сколько волка ни приучай — все равно в лес смотрит.

Из всего, что написано об «органах» в советской литературе в 1956—57-м году можно сделать вывод, что партийная диктатура пошла на развенчание «органов» и на ликвидацию их всемогущества не только по причине собственного страха перед ними, но еще по одной существенной причине: страх, насаждаемый «органами» многие годы, парализовал творческие способности народа.

У М. Каверина в «Поисках и надеждах» сказано:

«Были в институте и серьезные ученые, но работали они, закрыв глаза и уши и стараясь не замечать той, поистине фантастической чепухи, которую выдавали за науку... Впрочем, с открытыми глазами и ушами они не продержались бы в институте и полгода».

У В. Овечкина в «Трудной весне» об этом сказано еще определеннее:

«— Стричь свинью — визгу много, шерсти мало. Как нам это надоело! Крик, крик и крик. „Срывщики!“, „Саботажники!“... Новый ты человек в районе, молодой секретарь, а за такую старину принимаешься, что нам пожилым, она уже все печенки и селезенки проела... Ты надсмотрщик и погоняла, вот кто ты есть такой!.. Ежовы рукавицы и страх... Другое требуется сейчас: учить людей думать своей головой, воспитывать в них смелость, честность перед партией и своей совестью! А смелость не палкой воспитывается. Отстаешь ты от жизни».

Здесь-то и вскрывается одно из основных противоречий партийной власти. Вред политики страха нынешние руководители «партии и правительства» поняли, можно сказать, на своей шкуре во время Сталина, но, оказавшись у власти, без страха в народе обойтись не могут. События последнего года показывают, как Хрущев постепенно возвращается к политике страха. После удаления Жукова, для того, чтобы сдерживать оппозиционные настроения среди хозяйственников, военных, а в будущем — неизбежное недовольство и среди нынешнего состава Президиума ЦК Хрущеву придется все больше и больше операться на КГБ Серова и МВД Дудорова. Это и понимают писатели и потому тему об «органах» начинают обходить стороной.

## Армия

После смерти Сталина «коллективное руководство», состоящее из многолетних подручных диктатора, хорошо усвоивших все рецепты сталинской политической кухни, единодушно решили ликвидировать верхушку секретной полиции во главе с Берия и сильно урезать власть «органов». Военное командование, у которого были свои старые счеты с секретной полицией, с ее «особыми отделами» охотно в этом помогло «коллективному руководству».

Те и другие хорошо знали, что НКВД и было тем оружием, которым Сталин уничтожил силы, противостоящие ему на пути к абсолютной диктатуре. Вскоре после ликвидации Берия в СССР восстановилось некое равновесие сил, как это было в двадцатые годы: власть центрального аппарата партии, власть хозяйственных руководителей — и сила военного командования уравнивали друг друга.

Хозяйственники в союзе с некоторыми государственными деятелями имели в Президиуме ЦК шансы на перевес. Но Хрущеву удалось усилить группу партийных аппаратчиков и повысить вес военного командования: в Президиум ЦК были введены дополнительные люди из числа парработников, маршал Жуков сделался кандидатом в члены Президиума, увеличилось и число членов ЦК — военных. Опираясь на союз с военным командованием, Хрущев разгромил хозяйственников. Правда, за это ему пришлось пойти на дальнейшее усиление сил военного командования — министра обороны маршала Жукова пришлось сделать полным членом Президиума ЦК, что создало большую опасность для власти центрального партийного аппарата, ту же опасность, которая существовала, когда членом Президиума был Берия. Вся история Советского Союза показывает, что когда кто-либо из членов Президиума (Политбюро) ЦК имеет в своих руках реальную, единоорганизованную силу — секретную полицию с ее вооруженными силами или армию, то он становится хозяином положения. Таким хозяином стал Сталин, когда захватил НКВД, а во главе армии поставил послушного бездарного Ворошилова.

С возрастаянием значения и сил военного командования — внутри самой армии не мог не усиливаться конфликт между командованием и политсоставом, разъедающий советскую армию с первых дней ее существования. Этот конфликт по-сути всегда был конфликтом между силами партийного руководства и военного командования. На этот раз командование в своем требовании действительного единоначалия, кроме своего старого аргумента относительно воинской дисциплины

имела новый, весьма убедительный аргумент, вытекающий из факта партийности всех командиров (например, маршал Жуков член партии с 1919-го года — его партстаж всего на год меньше партстажа самого Хрущева). К тому же основной командный состав армии — ветераны, доказавшие свою преданность режиму во время второй Отечественной войны.

Сделав Жукова членом Президиума ЦК, центральный партийный аппарат во главе с Хрущевым мог сохранять полноту власти только в случае полного контроля над армией через военный отдел ЦК — Главное политуправление армии, то-есть через политсостав. Когда же часть командования во главе с Жуковым стала требовать действительного единоначалия, то-есть отмены политсостава, с передачей его функций в части политического воспитания армии армейским парторганизациям, Хрущев и другие руководители партии решили поторопиться отделаться от представителя военного командования в Президиуме ЦК. Возможно, Жуков от имени командования требовал отмены политсостава в виде подарка армии ко Дню сорокалетия Октября, поэтому Президиум ЦК и пошел на скандальную расправу над Жуковым перед самым празднованием сорокалетия Октября, не считаясь с тем, что это омрачит юбилейное торжество. Возможна и другая причина: в дни юбилейных торжеств Жуков принимал бы парад на Красной площади, выступал бы с речью, встречался бы со всеми съехавшимися в Москву вождями коммунистических партий, участвовал бы в юбилейной сессии Верховного Совета — после этого изгнание его было бы еще скандальнее. Проведение удара по военному командованию, видимо, обошлось не без участия главы КГБ генерала Серова: был применен старый чекистский метод: маршала Жукова отправили в Югославию и Албанию, как в свое время маршал Тухачевский был отправлен в Англию на похороны короля Георга V-го.

По логике партийной диктатуры верхушка партии должна иметь свободу рук как во внутренней, так и во внешней политике. Хрущев по-сути поступил по методу своего учителя Сталина: разделившись с хозяйственниками и примкнувшими к ним руководителями государства, затем разделался и с военным командованием. Допустить отмену политсостава в армии Хрущев не мог — это дало бы силам военного командования значительный перевес над силой центрального партийного аппарата.

В произведении советской литературы 1956—57 года не трудно заметить и возросшее после Сталина значение армии и ее военачальников, и нарастание внутренней борьбы в армии между командованием и политсоставом, и подготовку удара по Жукову.

При Сталине жизнь армии для писателей была неким табу (если не считать пропагандных произведений из фронтовой жизни). В 1956-м году появились произведения о собственной жизни армии — солдат и офицеров.

## Оккупационная армия

В «Новом мире» № 9 (сентябрь 1956 года) Сергей Львов, бывший после войны переводчиком в Германии, пишет:

«Роман Эм. Казакевича «Дом на площади» появился полгода назад в сборнике московских писателей «Литературная Москва». О нем напечатаны обстоятельные рецензии, высоко оценившие эту работу. Немало добрых слов сказано о романе и на обсуждении альманаха в Союзе писателей. В отзывах — печатных и устных — справедливо отмечена важность жизненного материала, положенного в основу книги, рисующего самые первые и самые трудные шаги Советской Военной администрации в Германии; по достоинству оценено настоящее знание этого материала, которое придает книге вес большой достоверности».

Критик Львов знает послевоенную Германию, знает и советские оккупационные войска — далее он пишет о романе Эм. Казакевича:

«Когда я увидел, что мне интересно перечитать «Дом на площади» и во второй и в третий раз, мне подумалось: это потому что его материал знаком и близок».

Но тем не менее роман Казакевича сильно грешит в смысле исторической правды; во многом это не роман о том, «как было», а «как должно было быть». Так, например, в романе утверждается, что союзники хотели разрушить немецкую промышленность, демонтировать ее, а то что советская сторона была против этого. На самом же деле было обратное: на заседаниях Контрольного Совета в Берлине, посвященных уровню промышленности побежденной Германии, союзники настойчиво защищали уровень, в два-три раза превышавший тот, который упорно предлагали советские представители. Общеизвестно, что Советский Союз в 1945—46 годах демонтировал, что называется, «под метелку» немецкие предприятия своей зоны (многое из того, что не могли демонтировать, взрывали!), в западных зонах Германии союзники демонтировали ничтожную часть предприятий.

В романе Казакевича советские комендатуры изображены в сильно идеализированном виде — этакими победителями, которые взвалили на свои плечи трудную задачу — помочь немецкому народу строить новую жизнь. Герой романа районный комендант подполковник Лубенцов первое, что делает после того, как принял район от английской комендатуры, это организует подачу городу света. В действительности союзные власти передавали советским города и районы в образцовом порядке: везде был не только электрический свет, но даже — на удивление советским офицерам — в автоколонках продавался бензин, в магазинах было немало товаров. С приходом советских властей бензин и товары немедленно исчезали.

В своей записной книжке полковник Лубенцов записывает некий «кодекс» советского коменданта:

«11. Комендант представляет СССР. Пусть он всегда это помнит. Он должен, вставая, думать о родине и, ложась спать, думать о ней. День без мысли о родине — пропащий день для коменданта. Он должен ежедневно читать советские газеты, книги, журналы...»

В действительности, коменданты, особенно районные, думали о том, как бы задержаться в Германии, как бы подольше не возвращаться на родину. Советских газет и журналов не было даже в политотделах областных комендатур.

По роману Казакевича можно подумать, что все в Германии делали советские комендатуры, в действительности же комендатуры были только незначительным исполнительным органом Советской Военной Администрации. В романе ни слова не сказано об Оперотделах МГБ, проводивших «чистку» среди немцев советской зоны и следивших за комендатурами и другими советскими учреждениями. Нет у Казакевича и Особого Комитета при Совете министров СССР, проводившего демонтаж немецких предприятий, вывозившего запасы сырья и промышленной продукции. Нет и Управления Внешней Торговли с его многочисленными конторами и учреждениями — всякими «Разноимпортами», скупочными пунктами и т. п. Нет и Трофейного Управления группы войск и многих других учреждений, которые властвовали в советской зоне Германии в первое время после войны и для которых комендатуры были только исполнителями.

Но все же при всех этих несоответствиях с исторической правдой в романе Казакевича много правды (иной раз недоговоренной) о жизни советской оккупационной армии.

Прежде всего советские военнослужащие после войны думали, как думает у Казакевича капитан Чохов:

«Молодой человек, искушенный в военном деле, ...искренно полагал, что врагов больше нет».

Ненависти к немцам у большинства солдат и офицеров не было:

«Элементарное чувство справедливости заставляло солдат понять, что нельзя отнести вину за страшные злодеяния на счет всех этих мужчин, женщин и детей, составлявших народ Германии».

Подполковник Лубенцов говорит:

«Немцы — люди, живущие в Германии и говорящие по-немецки. Я не могу поверить, что подлость является отличительной чертой какого-нибудь национального характера. От такой точки зрения до расизма — один шаг. Мы же их за расизм и били».

Солдатам и офицерам запрещалось общение с местным населением:

«Дело было в живом общении с населением, ибо хотя такое общение запрещалось..., оно существовало».

Казакевич невольно признает одну из причин, почему советских военнослужащих тянуло к немцам:

«Им кажется, что вся страна только и состоит, что из богатых домов и мягких постелей, и что тут питаются только свининой да запивают ее вином».

По службе, выполняя волю партийной власти, советским военнослужащим приходилось насиловать волю населения:

«В конце концов будет так, как скажет советская комендатура. Комендатура за земельную реформу — значит, будет земельная реформа. Решает реальная сила, а не митинги и ораторские уловки».

Но в романе слышно осуждение подобной политики насилия над волей оккупированного народа, осуждение жандармской службы, которую приходится нести советскому солдату:

«Никакая армия не может принести свободы в побежденную страну, если народ этой страны не желает этой свободы». —

замечает подполковник Лубенцов. Немецкий профессор Себастьян говорит ему:

«Вы всегда толкуете закон так, что он обращается острием против человека, против личности»,

Насилие над человеком, над народом осуждает и Лубенцов:

«Человечество за последнее время привыкло к насилию и склонилось перед ним; никто уже не осуждает подлостей, сделанных по принуждению».

Немец профессор о советском солдате говорит:

«У вас симпатичные солдаты, добрый и спокойный народ», —

но тут же добавляет:

«Но ваш пьяный солдат — это ужас».

Казакевич с горечью отмечает, что политика насилия приводит к тому, что оккупированные народы относятся к советским солдатам и офицерам с нескрываемой враждой:

«Веретенников спросил у проходящего мимо поляка, где находится советская комендатура, на что поляк ничего не ответил, только с какой-то смесью издевки и вражды скосил глаза и прошел, словно перед ним стояли не люди, а скажем, стая ворон... Небаба сделал вывод, что „поляки нас не любят”».

Казакевич в романе написал не мало вздора об американцах, но вынужден признать, что советские солдаты и офицеры относятся к американцам по-своему:

«Среди советских людей были и такие, которым нравился залихватский тон „ами”, их бесцеремонность, подчеркнутое неуважение к воинской дисциплине, обаятельная фамильярность в обращении друг с другом, в том числе и со старшими начальниками».

Казакевич, выполняя партийный заказ, придумывает «идеологическое» объяснение такой зависти советских солдат и офицеров к американским:

«Все эти черты производили чарующее впечатление на тех наших людей, для которых капиталистическая частная собственность (!?)

втайне была, хотя и запрещенной, но заманчивой чертой. Таких людей у нас не так мало, как это принято думать».

Именно по причине такого примитивно-партийного объяснения все американцы в романе вышли говорящими куклами.

В романе впервые во всеуслышание признается факт побегов советских солдат и офицеров на Запад — в конце романа убегает майор Воробейцев:

«— Ваш Воробейцев вчера сбежал. Он изменил родине. Сегодня в шестнадцать часов он выступал по радио во Франкфурте-на-Майне. Вот что он говорил, — генерал бросил на стол скомканную бумажку».

Примитивное «идеологическое» объяснение Казакевич дает и побегу Воробейцева:

«Воробейцев ни с кем и никогда не вел никаких политических разговоров, никакой враждебной агитации. Он жил только наживой — думал только о ней. Он был жаден и вел легкую жизнь... Короче говоря, Воробейцев стал изменником потому, что был корыстным, жадным до собственности человеком... „Да разве Воробейцев один? Разве таких мало?!“».

Но Казакевич тут же вынужден показать иные причины побегов на Запад. Тот же майор Воробейцев говорит:

«Если бы на мне не висела машина и командировка, я бы уж поехал по Европе!».

Нажива, как мы видим, здесь не причем — майору хочется повидать запрещенную для советского человека Европу!

Другой персонаж романа районный комендант Поливанов влюбился в остовку (мог влюбиться и в немецкую женщину):

«— Я ее люблю, — сказал Поливанов все с той же трудно оспариваемой простотой.

— Перед вами выбор, — сказал Леонов. — Либо вы порвете всякие отношения с этой девушкой, либо отправитесь на родину.

— Она хочет поехать со мной, — сказал Поливанов. — Можно это сделать?

— Нет, — сказал Леонов. — Перед вами выбор, о котором я сказал.

— Хорошо, — произнес Поливанов после некоторого молчания. — Я поеду на родину».

Читатель понимает, что тот же Поливанов мог не «на родину» поехать, а бежать с любимой на Запад. Тем самым Казакевич приоткрывает завесу молчания над многочисленными трагедиями советских солдат и офицеров, связанными с любовью к женщинам оккупированных стран.

Немало в романе правдивых мелочей армейской жизни, например, признание воровства в Советской армии: «Военторг до нас ничего не довез, все застряло по дороге...» Осуждается в романе и партийный подход к человеку в армии, основанный на «личном деле», на анкетах и характеристиках военнослужащего:

«Перечитывал и удивлялся формальности, с какой составляется анкета, и тому, что она ровно ни о чем не говорит. Она фиксирует какие-то внешние обстоятельства жизни человека, но о самом важном, о самом сокровенном она молчит, как глухонемая».

С большой силой рассказывает Казакевич о действительном отношении советских солдат и офицеров к своим товарищам по оружию, которые попали в плен к немцам во время войны и которых партийная диктатура всех до одного посадила за колючую проволоку в лагери, как «изменников родины». Немало пленных было расстреляно. Герой романа подполковник Лубенцов побывал в лагере остовцев, среди которых были военнопленные:

«Он стоял в темноте, неподвижный и напряженный. Он чувствовал, что готов заплакать. Теплота всех этих глаз перевернула ему душу. Жалость к этим людям и гордость за свою армию переполняли его. „Почему я должен, — думал он, — почему я обязан обижать этих дорогих мне людей, которых и так столько обижали и унижали? Я ведь их люблю“... Его туда тянуло, ему хотелось поговорить с ними, подбодрить их, рассеять смутную тревогу, которую они, несомненно, испытывали и которая странным образом уживалась в них с чувством великой радости... У него не выходил из головы одноногий человек, бывший лейтенант, взятый в плен под Вязьмой. Лубенцов хорошо помнил Вязьму. Он там находился в окружении в 1941 году. Он тоже был лейтенантом и тоже мог попасть в плен, вот так, как этот одноногий... Ему были понятны озлобление и горечь в глазах у одноногого. Одноногий был волевым и сильным человеком, вожак в здешнем лагере. Если бы не беда, приключившаяся с ним под Вязьмой, он вполне мог бы теперь приехать сюда в Лаутербург, советским комендантом. А он, Лубенцов? Случись с ним такая беда, как с тем лейтенантом четыре года назад, он, может быть, находилсь бы здесь, в лагере, как этот лейтенант».

Есть в романе и конфликт между командиром и замполитом. При этом Казакевич затрагивает принципиальный вопрос нарушения воинского устава деятельностью политсостава: как известно, по уставу подчиненный офицер может обращаться в вышестоящую инстанцию только через своего непосредственного командира; политические же офицеры, хотя они и числятся заместителями своих командиров, обычно обращаются к начальству непосредственно, минуя прямое начальство. Таким образом, политсостав постоянно нарушает устав, что ведет к нарушению дисциплины. У Казакевича замполит — майор Касаткин — разговаривает со своим командиром — подполковником Лубенцовым:

«— Я считаю нужным немедленно арестовать капитана Чохова... В порядке предупреждения я считаю необходимым подвергнуть аресту дочь Себастьяна и ряд лиц, связанных с ней. Мое мнение разделяет и генерал Куприянов, с которым я только что говорил по телефону».

Лубенцов весь похолодел.

— Почему вы говорите с генералом Куприяновым без моего ведома, по собственной инициативе? Чохов не будет арестован, пока я здесь сижу. И никто не будет арестован „в виде предупреждения“.

Я вижу, вы кажетесь себе необыкновенно решительным и твердым человеком. На самом деле вы паникер и мямля...

Так как Казакевич умышленно замалчивает существование «оперотделов», которые в действительности занимались делами о побегах военнослужащих на Запад, то майор Касаткин в романе как бы представляет и замполита и «особиста».

Одно из самых сильных мест романа посвящено проблеме отношений между самими командирами советской армии, то-есть тому самому, что заставило вчерашних товарищей по оружию маршала Жукова выступать и голосовать против него. В сцене общего офицерского собрания, созванного по поводу побега майора Воробейцева, командиры и сослуживцы подполковника Лубенцова, которого они давно знают по фронтовой жизни, как отличного командира, храброго солдата, предадут его:

«Генерал Куприянов не отдавал себе ясного отчета в том, что обвиняя Лубенцова, он до некоторой степени снимал ответственность с себя; подвергая Лубенцова осуждению, он перед высшим начальством, — перед Берлином и Москвой — смягчал свою вину. И хотя он понимал, что случившееся чрезвычайное происшествие с одним из рядовых офицеров одной из рядовых комендатур не может серьезно быть поставлено в вину ему, генералу Куприянову, но он достаточно хорошо знал обычай некоторых крупных начальников, которые после такого рода происшествий — вовсе не из любви к истине, а для отчета перед **вышестоящими**, еще более крупными начальниками — стремятся найти виновника, а если виновника найти нельзя, то хотя бы найти наиболее виновного».

Читатель понимает, что подобная «ответственность», заведенная партийной властью в армии, разъединяет командиров, делает их послушным орудием в руках этой власти, губит честных, способных офицеров.

Есть в романе «Дом на площади» необыкновенно интересная мысль: тысячи советских военачальников и офицеров, после тяжелой школы войны получили большой опыт государственной деятельности. Они — эти советские генералы и офицеры, как и герои романа — подполковник Лубенцов или начальник СВА, которого Казакевич называет «умный и блестящий политик», — после войны близко ознакомились с жизнью Европы, на службе в Военных Администрациях, Контрольных Комиссиях, в различных миссиях в Германии, Австрии и в других странах получили большой опыт хозяйственной, политической, дипломатической работы. Они стали лучше разбираться не только в военных, но и в государственных делах, чем многие из тех, кто командует ими и поныне.

В 1945—46 годах, в то время, к которому относится роман Казакевича, партийная диктатура через свой Особый Комитет при Совете министров СССР, состоящий большей частью из работников аппарата ЦК во главе с Маленковым, Вознесенским, Сабуровым, Первухиным, проводила «экономическое разоружение» Германии — демонтировала предприятия восточной зоны — вплоть до мастерских. Военное командование, в частности маршал Жуков, который был тогда Главно-

командующим Группой советских оккупационных войск и Главнначальствующим Советской Военной Администрации в Германии, генерал армии Соколовский, генерал-полковник Берзарин, первый комендант Берлина, и другие часто протестовали против политики Особого Комитета. Так по настоянию военного командования был приостановлен демонтаж цементного завода «Адлер» в Рюдерсдорфе, большой фабрики бумажной кровли в Шпандау (Берлин), нескольких бумажных фабрик и типографий. Военное командование мотивировало свои требования тем, что нельзя оставлять разрушенную Германию без предприятий строительных материалов, нельзя оставлять без бумаги и типографий, нужных для советской пропаганды среди немцев. Много протестовало военное командование против демонтажа предприятий, ненужных Советскому Союзу, как, например, Мейссенской фарфоровой мануфактуры, оборудование которой состояло из старых котлов и печей. После демонтажа таких предприятий оставались десятки тысяч безработных немцев, что, конечно, осложняло и положение советской администрации и проведение советской политики вообще. Особый Комитет считал, что демонтировать надо все (что невозможно демонтировать — уничтожить), и выставлял свой обычный «довод»: предприятия эти во время войны изготавливали военную продукцию, их демонтаж понизит военный потенциал будущей Германии. Сегодня мы видим, кто был прав в этом вопросе — партийная власть или военное командование, кто из них выказал больше государственной мудрости.

В романе Казакевича этот конфликт между военным командованием и партийной властью показан в разговоре двух офицеров районных комендантов:

— У тебя в районе расположен химический завод, входящий в „ИГ Фарбениндустри“.

— Да. На-днях начнем его демонтировать.

— Мне кажется, тебе следует поставить вопрос о приостановке демонтажа. После земельной реформы, хотя бы для того, чтобы доказать ее рентабельность, понадобится много химических удобрений. Где мы их возьмем? Из России, что ли, повезем? Невыгодно! Глупо! Ведь иприт и минеральные удобрения делаются из одного и того же сырья — каменного угля... Нет ничего легче, чем разобрать станки и куда-то их доставить, упаковать лабораторное оборудование и погрузить в вагоны... А потом что? Обратно везти?»

На деле так оно и было: многие демонтированные предприятия, как та же Мейссенская фарфоровая мануфактура, были восстановлены с помощью СССР.

В конце романа писатель идет к своему герою — подполковнику Лубенцову, вернувшемуся из Германии в Москву:

«Когда я впервые шел к нему в гости по длинному коридору коммунальной квартиры, я думал о том, что вот в этой квартире живет замечательный человек, герой и государственный деятель. И я думал о том, как много героев и замечательных деятелей живут в домах Москвы и других городов, — скромные и простые люди, не занимающие крупных мест, **хотя они справились бы с любой работой.** И вот они так живут, честно работают, а когда им скажут: „Иди,

побеждай, делай чудеса", — они пойдут, победят, будут делать чудеса».

События последнего времени, особенно опала Жукова, показала, что пока военные люди, подготовленные к государственной деятельности, ждали, что кто-то их «позовет», диктатура приняла свои решительные меры.

### Основная армия

Самое крупное произведение из жизни современной советской армии — это повесть Михаила Алексеева «Наследники» («Нева» №№ 1-2, 1957). Автор повести сам подполковник артиллерии и жизнь армии знает хорошо.

Впервые в советской литературе дается довольно правдивая картина жизни солдата, с самого его призыва в армию, и жизни офицера.

О предстоящем призыве в армию советские парни в повести говорят:

«— Мне лично все равно. Куда пошлют, там и буду служить.  
— А я вообще с удовольствием остался бы дома».

Довольно правдиво изображены проводы призывника-новобранца:

«Селиван стоял, окруженный сильно поредевшей за годы войны родней. Чуть в сторонке сутулилась мать. С этой же станции провожала она Егорушку, своего первенца. Не знала родимая, провожала навсегда. В чужой, далекой Померании оборвался его след. А теперь провожает младшенького, своего последыша. И глядит на него сухими глазами — нет в них слез, давно-давным выплаканы».

Не скрывает автор, что в число солдат поневоле попадают и школьники-выпускники, которым не удастся избежать призыва отстрочкой, какую дает институт или техникум. Таков Петенька Рябов:

«Петенька вынужден был признаться самому себе, что его бодрячество перед товарищами... есть не что иное, как желание заглушить в себе неутраченную боль, вызванную и тем, что провалился на экзамене в институт, и тем, что по каким-то непонятным для него законам приходится здесь подчиняться людям, которые знали меньше его, и тем, что завезли его в страшную даль... Оказавшись в армии, он вдруг решил, что ему помешали довести до конца какое-то большое и важное дело и что это нехорошо и неправильно».

Даже самый воинственный из молодых солдат — Селиван Громоздкин плачет по ночам:

«Наутро, проверяя заправку коек, старшина заметил на сморщенной, измятой подушке рядового Громоздкина небольшое мокрое пятно. Невесело было на душе у солдата. Все огорчало его, решительно во все!».

Без прикрас описан и служебный день солдата:

«Подъем, физзарядка, заправка коек, туалет, утренний смотр, занятия, завтрак, снова занятия, чистка оружия, обед, часовой сон, или „мертвый час“, личное время солдата, в которое он умудряется написать три-четыре письма..., вечерняя прогулка, во время которой солдаты обязаны оглашать хмурую землю бодрыми голосами, поверка, отбой, ночные „тревоги“ — и дни вытянутся в одну линию...»

Автор повести не скрывает и всяческих уловок солдат, чтобы как-нибудь облегчить свою нелегкую жизнь:

«Громоздкин нередко пускался на хитрость: разбуженный незадолго до общего подъема известной нуждой, он незаметно для дневального лез под одеяло в брюках».

Описывает автор и другие нарушения устава, например: старшина в повести угощает солдат водкой.

Так же без прикрас описывается и жизнь офицера:

«Ось живе такой майор десь в Виннице, пишет, мабуть, десятый уж рапорт в КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть) по вопросу жилья, а ему все говорят: „Нет, не можем обеспечить“. И дерет с него какой-нибудь советский куркуль рублей по пятьсот за десяти-метровый угол... А потом приказ: на Курилы или на какую-нибудь там Кушку. Продает мебелишку, какая была, берет чемодан, сажает жинку да детей на машину — и на вокзал. И катятся так всю его жизнь на колесах, и конца этому путешествию не видать. А проштрафится — ведь живой человек и с ним грех бывает! — бумажку в руки и поезжай миленький, куда глаза глядят. А куда поедешь, ежели у тебя ни кола, ни двора и никакой гражданской специальности!.. Сутками тянется его рабочий день... Поднимают ночью по тревоге..., делаешь марш-бросков по пересеченной местности, в стужу и в зной, в любое время! А начнется война, кто первый пойдет в бой?.. Такие вот, как майор, будут кровь свою проливать».

Так о жизни советского офицера рассказывает в повести выдавший виды пожилой старшина-сверхсрочник.

Явно осуждает автор и многие порядки советской армии:

«Майора вызвали в отдел кадров за получением назначения.

Принимал его инструктор отдела.

— Куда бы вы желали поехать?

Майор вообще-то хотел бы остаться в Москве, но знал, что это совершенно исключено.

— В Минск... куда-нибудь в те края...

Наутро... вручили бумагу, согласно которой он был обязан отправиться на Дальний Восток.

— Просится человек на юг — посылайте его на север.

— Это зачем же так? Это же негуманно.

— Поступаю так исключительно в интересах государственных...

Офицер просит послать его, скажем, в Киев: стало быть он преследует какие-то свои, личные цели и меньше думает о служебных делах... Посылаю его в Архангельск — там ему ничего не остается делать, как только думать об исполнении служб».

Все эти довольно откровенные подробности нелегкой жизни солдат

и комсостава приводятся автором явно не случайно — на их фоне читатель ярче видит, как ненужно осложняют жизнь военнослужащих армейские политработники со своей политработой.

Автор издевается над типичным армейским политработником-пропагандистом полка майором Шелушенковым:

«Майор, как всегда, деловой, провел накануне стрельб инструктивное занятие со взводными агитаторами, после чего они должны были прямо в поле призывать солдат, чтобы они „стреляли только на отлично“. Шелушенкова нисколько не смущало то обстоятельство, что во время стрельб агитаторам не представится такая возможность, потому что они сами солдаты и будут делать то же, что и все, то есть стрелять по мишеням. Но пропагандист был убежден, что так оно и должно быть, потому что так было всегда, и что заведено это не им, Шелушенковым, что стрельбы есть стрельбы, а политическое мероприятие вокруг них есть политическое мероприятие и что никто не посмеет упрекнуть его в бездеятельности даже в том случае, если стрельбы пройдут плохо: ведь все, что от него зависело, он сделал.

Он так и сказал лейтенанту Ершову, который осторожно намекнул майору, что едва ли есть необходимость назначать беседчиков во время стрельб.

— Ваше дело, лейтенант, руководить стрельбой...

— Да..., но, товарищ майор, солдатам будет не до бесед. Для этого у них в самом деле нет ни одной минуты.

— Я просил бы вас не вмешиваться. Вы забываетесь, лейтенант».

Мешает майор-пропагандист солдатам и во время учебной «атомной вылазки»:

«Шелушенков с трудом поспевал за солдатами. Наконец ему удалось пристроиться к Громоздкину... Отдыхавшись, майор приготовился было задать ему первый вопрос, но вновь раздалась команда, оповещающая, что произошел атомный взрыв. Солдаты мигом разбежались..., и только Селиван Громоздкин, задержанный Шелушенковым, не успел отбежать... Лейтенант Ершов тотчас сделал ему замечание... Майор, дождавшись, когда отошел командир взвода, сказал:

— А если б это был настоящий взрыв? Хороши были бы мы с вами! Что бы о нас тогда сказали?».

Громоздкина — самого лучшего солдата во взводе — раздражает мешающий ему пропагандист. Он зло отвечает майору:

«— О покойниках плохо не говорят, товарищ майор.

— Что вы сказали? А ну-ка повторите! Рядовой Громоздкин, я вам приказываю.

Селиван молчал.

— Молчите? Ну так я с вами после поговорю».

Во время ночного учебного выезда полка в условиях жестокой снежной бури, майор-пропагандист везет с собой газеты, боевые листки, лозунги, плакаты:

«Шелушенков малость не учел то обстоятельство, что в темноте его **наглядную** агитацию никто, при всем желании, увидеть не сможет».

Во время трудного пути майор-пропагандист только мешает водителю бронетранспорта:

«— Вы где?

— Я здесь, товарищ майор.

— А мотор в порядке? Вода не замерзнет в радиаторе?

— Не замерзнет. Она разбавлена антифризом, товарищ майор.

— Проверьте все хорошенько еще раз.

— Слушаюсь».

Солдат потерял время и отстает от других машин, в крошечной темноте его бронетранспорт попадает в полынью. Рискую жизнью, солдат спасает боевую машину, майор же убегает, а затем обвиняет солдата в том, что тот «умышленно вывел бронетранспорт на полынью». В рапорте по начальству майор пишет, что «среди нового пополнения есть гнилые элементы».

Есть у политработника майора Шелушенкова книжица — блокнот, в которую он заносит всякие пометки — будущие доносы на солдат и офицеров полка. Книжку прочитывает замполит полка подполковник Климов, которого автор выводит, как политработника, понимающего ненужность и вредность для армии политработы, которой он руководит:

«— Книжица-то ваша не совсем обыкновенная... Может быть, в свое время ее поместят в музей. Какая, однако, подлость!.. С какой целью завели вы на людей полка этот свой поминальник? С какой?

— Пропагандист полка обязан знать, о чем думают и о чем говорят люди, за воспитание которых он отвечает...

— Мне-то поделом!.. Пропагандист полка планирует выпуск боевых листов, которых никто не может прочесть, а я утверждаю план. Он планирует беседы, которых нельзя провести, а я их утверждаю. Он проводит наглядную агитацию для ночных учений, а замполит утверждает... Что же получится, если вы дадите ход всем этим запискам? Сколько времени отнимете у людей, нужного им для полезной работы! А сколько нервов, сколько испорченной крови!.. Уходите вон! Слышите? Сейчас же уходите! Уходите!!!»

В другом месте повести «кающийся» замполит Климов говорит:

«— Чего-то очень серьезного не хватает нашей политической работе... Естественности, что ли? Пожалуй. Да, да, именно естественности».

По признанию самого замполита — политработа в армии явление противоестественное. Иными словами, боевой офицер объясняет существование политсостава в армии недоверием власти к солдатам и комсоставу! Командир полка полковник Люлюх говорит еще определеннее:

«— Шумихи и „накачки“ у нас много. Когда-то в Москве мне довелось быть в одной компании с футболистами. Они говорили мне, что иной раз перед состязанием, особенно в международных играх, им сотый раз напоминают об ответственности перед родиной, так взвинтят нервы, что на поле спортсмены выходят по существу уже

небеспособные. Нечто подобное бывает и у нас. **Надо более доверять людям...**»

Основной конфликт в повести происходит между боевым полковником Люлюхом и политиканствующим полковником Пустыниным. Во время войны они оба были на Сталинградском фронте. Пустынин с первого дня появления на фронте стал выступать с речами и вконец надоел измученным тяжелыми боями офицерам повторением взятой им из очередного приказа Сталина фразой — «Стоять на смерть!» Как-то Люлюх не выдержал и заметил усердствующему Пустынину:

«— А фельдмаршал Кутузов произнес эти слова только один раз... Один раз за всю свою полководческую деятельность: на Бородинском поле».

Пустынин донес на Люлюха — будто бы тот высмеивал Сталина.

«В ту же ночь Люлюх был арестован, а через два дня осужден военным трибуналом: десять лет тюрьмы ему заменили штрафным батальоном».

Читателю ясно: полковник Пустынин по-сути дела тот же майор Шелушенков, то-есть представитель политсостава. После истории с Люлюхом, командование, чтобы отделаться от Пустынина, отправило его на учебу в академию:

«Военные люди хорошо знают об этом странном и парадоксальном, на первый взгляд, явлении; получив разнарядку о посылке офицеров на учебу, командиры используют это удобное обстоятельство, чтобы избавиться от никудышных офицеров».

«Никудышный», политиканствующий офицер-доносчик Пустынин пробыл на фронте всего двенадцать дней. Но в 1955-м году он был уже полковником, окончив два высших учебных заведения.

«Немалой долей своих успехов Федор Илларионович Пустынин был обязан безупречной биографии».

Судьба Люлюха сложилась иначе: командованию удалось вырвать его из штрафного батальона, он провоевал всю войну, после войны служит командиром полка где-то в районе Камчатки. Там-то и происходит вторая встреча Люлюха с Пустыниным, который приезжает из Москвы с комиссией для инспекции частей. Люлюх говорит Пустынину:

«— На фронте меня трижды ранило... Все три раны зажили, зарубцевались... Но есть у меня, полковник, четвертая рана. Вот она не заживает... И эту рану нанес мне человек, с которым мы состоим в одной партии... Конечно, все это можно объяснить, как и многое другое в жизни, но простить не могу... Я не в состоянии простить вам».

Много военных командиров не могут забыть бесчисленных бед, которые принесли им и всей армии политработники и политиканствующие офицеры. Не забывают и не прощают! Ни гибели десятков тысяч командиров во главе с маршалом Тухачевским и Блюхером в 1937-39 годы, ни бессмысленной гибели офицеров и солдат во время Отечественной войны, ни «чистки героев» после войны, — тогда маршал Жуков и был впервые отстранен от руководства армией. Вряд ли армия забудет и теперешнюю обиду со стороны Хрущева.

Участие военного командования в ликвидации Берия в 1953-м году показало, что армия действительно не забывает ран, нанесенных ей при жизни Сталина. В повести «Наследники» следователь-«особист» замечает командиру полка Люлюху:

«— Следствие еще не закончилось.

— Это для вас. А для меня оно закончилось», —

— отвечает полковник. При Сталине подобный ответ командира уполномоченному Особого отдела был немислим.

Интересна повесть М. Алексеева и тем, что в ней впервые описываются учебные занятия и маневры современной советской армии. Тренируют на дальнем севере, в условиях заполярья:

«Кто скажет, с какого конца может начаться война? — говорит солдатам старшина-сверхсрочник. — Солдат должен быть закаленным для боевых действий и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере».

Сам старшина служит в районе Камчатки давно — он женат на чукотке, у него уже трое детей. Видимо, основные кадры частей, расположенных на Камчатке, Алеутских островах и на побережье Тихого океана, не меняются.

Войска проходят постоянную «атомную» тренировку с участием реактивных самолетов, танков и бронетранспортов.

«Над пустыней моря пролетели невидимые реактивные истребители, оставив после себя звонкий, режущий ухо свист».

Правда, боевая «атомная» подготовка бойцов довольно примитивна:

«— Атомная тревога!

Все смешалось.

Солдаты бросились на снег, уткнувшись в его жгуче-холодные иглы разгоряченными лицами. Но командир поднял их и приказал быстрее двигаться вперед. Ускоряя шаг, солдаты привели в положение „наготове“ вату, марлю, плащ-палатки и даже приготовили носовые платки — все то, что пригодилось бы им при „дегазации“, дезактивизации и дезинфекции стрелкового оружия».

Тренируются солдаты в масках.

Атомные маневры со взрывом настоящей бомбы происходят где-то в глубине Сибири:

«В конце июня полк Люлюха был погружен на транспортные суда и во второй половине следующего месяца прибыл к месту учений — вглубь обширной лесостепи, где на протяжении сотен километров нельзя было увидеть ни одного населенного пункта».

Остро звучит в повести «Наследники» страх перед атомной войной.

«В глубине леса отсчитывала чьи-то недожитые годы кукушка: бездомная вещунья, она не ведала о том, что ее собственный и без того короткий век, равно как и век всех обитателей этой уютной рощицы, через какой-нибудь час-другой будет безжалостно оборван, и все, что сейчас звенело, шелестело, свистало и щелкало, — все, решительно все, в один миг будет обращено в прах...

Недалеко от рощи, на большой поляне выложили крест... Вот тут или где-то рядом отсюда и суждено было упасть черной громадной груше, затаившей в себе свою сатанинскую силу».

После взрыва бомбы солдат Петенька Егоров смотрит на то место, где была роща:

«Теперь рыжела поднимавшимися, волнообразными дюнами обезображенная земля и торчали черные, искромсанные комли исчезнувших деревьев. Куда же девались звонкоголосые, беспечные пичуги? Где болтливая сорока? Что стало с зайчишкой и кукушкой? Где все это? К горлу Петеньки подкатил горячий ком. Солдат с трудом проглотил горькую слюну».

Как относится военное командование к атомно-водородной войне? Генерал Чеботарев в повести говорит офицерам:

«Если мы убеждаем солдата, что любая, даже самая паршивая кочка, любой пенек, любая канавка могут спасти его от взрывной волны атомной бомбы, то мы тем самым преступно — слышите, преступно! — обманываем и его и самих себя. Это шапкозакидательство... Мы военные люди и знаем, что это за штука».

Последняя фраза явно относится к советским «не военным», безответственно размахивающим атомными и водородными бомбами и ракетами, а в многочисленных плакатах и инструкциях населению и солдатам уверяющим, что от взрывной волны можно спрятаться за «самым незначительным укрытием», от страшной температуры при взрыве — шинелью и плащпалаткой.

Кто эти военные, понимающие ужас атомной войны? В повести, кроме полковника Люлюха, лейтенанта Ершова, подполковника Климова, генерала Чеботарева, показано высшее командование, во главе с маршалом Жуковым, съехавшееся на атомные маневры:

«Из неслышно подкатившей машины вышел пожилой, коренастый человек в маршальской форме, с упрямым подбородком и глубокой складкой между густых, насупленных бровей...

Петенька сразу узнал его — это был министр обороны. С этой минуты, хоть ему было страшно вглядеть на широкоплечего, сурового человека, о котором фронтовики рассказывали легенды, Петенька не спускал с него своих восторженных, испуганно-счастливых глаз... Легендарный маршал разговаривал... с полковником, на погонах которого были непонятные эмблемы».

Теперь повесть «Наследники» отнесена партийной критикой к произведениям, которые, мол, «раздували» личность Жукова и его заслуги во время войны.

### Последние произведения об армии

Хотя мы разбираем произведения советской литературы периода 1956-го года и первой половины 1957-го, но для полноты картины коснемся двух произведений, появившихся после июньского пленума ЦК: повести А. Былинова «Рота уходит с песней» («Новый мир» № 7 и № 8, 1957) и повести «Времена и люди» А. Розена («Звезда» № 8 и № 9, 1957).

В этих повестях видно дальнейшее развитие внутренней борьбы между центральным аппаратом партии и военным командованием. То, что оба произведения написаны неизвестными авторами, позволяет думать, что написаны они по указке сверху.

В повести А. Былинова, хотя и имеется конфликт между комиссаром и командиром, —

«дерзить командиру бригады он может. Это многие из них, политработников, любят. Приехал откуда-нибудь из глубинки, пороха не нюхал, а уже учит, уже Фурманов», —

но основное острие критики направлено не на самую политработу, а на «плохих людей» среди политработников и военной прокуратуры.

В повести «Времена и люди», напечатанной в «Звезде» — журнале, тесно связанном с военным отделом ЦК — Главполитуправлением армии, ясно видна антижуковская линия. В повести высмеивается заслуженный боевой генерал Бельский, который за время болезни своего начальника политотдела окружил себя подхалимами и пройдохами. Генерал Бельский прославился во время войны удачной операцией, но он так и застыл на опыте прошлой войны и не желает менять своих взглядов на военное искусство. Генерал Бельский недвусмысленно обвиняется в приверженности к войне «большой кровью».

Положительный герой в повести — начальник политотдела дивизии: он «носитель нового» и «бескомпромиссный борец против отжившего» в армии.

Повесть «Времена и люди» была напечатана в августе и сентябре, это значит, что удар по военному командованию в лице маршала Жукова готовился с первых же дней, когда Жуков стал членом Президиума ЦК.

## Новый социальный слой

Социальный порядок советского общества много лет поддерживался и продолжает поддерживаться искусственными, принудительными мерами: закреплением рабочих и служащих за производством, паспортной системой с ее прописками и отметками, колхозной системой с ее фактическим закреплением крестьян за колхозами и т. п. Но, несмотря на все подобные рогатки, в Советском Союзе за послевоенные годы образовался новый социальный слой, состоящий преимущественно из беглецов из колхозной деревни и индустриализованного города. Слой этот — жители пригородов и провинциальных городов.

Вот как описывает этот новый социальный слой Тихон Журавлев в рассказе «В пригороде» («Наш современник» № 3, 1956):

«Вчерашние колхозники не стали рабочими. Они живут теперь как бы между городом и деревней, не связанные ни с колхозом ни с заводом, промышляя себе на хлеб кто чем может. Одни выращивают на своих усадьбах овощи для базара, другие плетут из речного розника и лозы корзины для продажи, третьи вяжут веники для вывоза в другие, северные города... Никто из жителей не жалуется на свое неопределенное положение. Наоборот, жизнь в пригороде они считают льготной — у каждого своя усадьба, а если кто-нибудь в семье занят на производстве, то и две усадьбы, — рабочим принято выделять участки на так называемой „заводской-пригородной“ земле».

Т. Журавлев знакомит читателя с одним из жителей пригорода:

«...Иваном Трофимовичем, перебравшимся в пригород из репьевского колхоза... Усадьбу и двор огородил высоким забором, а в палисаднике перед домом посадил четыре тополя. Первый год сам хозяин, его жена и взрослая дочь нигде не работали, они выращивали двух свиней, жена каждое утро носила на базар молоко и масло от своей коровы, а дочь заготавливала рогозу на речке.

— Тут и своей работы по горло, еле справляемся, — говорил Иван Трофимович. — Куда же еще идти на производство...

Дочь его частенько уезжала в другие города — везет продавать корзины или веники, а привозит кое-что необходимое и для себя и для базара. Недавно она привезла, например, селедку из Астрахани, потому что в горячую пору селедок в магазине не оказалось».

Как удалось хозяину бежать из колхоза, автор не рассказывает, но советскому читателю догадаться об этом не трудно: хозяин — участник войны и, видимо, после демобилизации в колхоз не вернулся.

Дело в том, что сразу же после войны демобилизованным выдавали на руки демобилизационные документы и они ехали куда хотели: колхозники ехали в города, рабочие ехали к родственникам и, оглядев-шись, устраивались там, где им нравилось. За несколько месяцев после окончания войны миллиона два-три демобилизованных не верну-лось на прежнее местожительство. Спыхватившееся начальство по-спешило издать приказ: демобилизационные документы на руки не выдавать, а отправлять их в райвоенкоматы по месту жительства, — пришлось демобилизованным со справкой о демобилизации ехать до-мой. Судя по советской литературе 1956-57 года, большинство демо-билизованных-беглецов осело в пригородах и провинциальных город-ках. К ним присоединились многие инвалиды войны.

К таким беглецам принадлежит и хозяин из рассказа Т. Журав-лева:

«— Меня вон тоже двумя осколками достало, — говорит он. — Один сюда..., другой — под лопатку...

Под стеклом в раме висели ярко начищенные медали — одна се-ребряная, три бронзовых».

Это значит, что хозяин участвовал в обороне или взятии двух больших городов (третья, бронзовая, медаль, наверно — «За победу над Германией»), серебряную медаль — «Солдатской славы» — по-лучил за храбрость.

Как живут жители пригорода?

«— Я даже в газету не заглядываю... Зачем? Одно беспокойство. Меньше знаешь — больше спишь.

Заметив на полке под иконой две книги, я спросил:

— А это что?

— Евангелия. А сверху мой учебник по пчеловодству. Я ведь еще и пчелами занялся...

— А правда ли, — спрашивает хозяйка, — что в Америке откры-ли новый монастырь и туда было перенесение иконы Курской Богома-тери? По радио передавали».

Из последней реплики хозяйки не трудно догадаться: советских газет они не читают, а радио из-заграницы слушают (сообщение о пра-вославном монастыре в Америке и о перенесении иконы Курской Бо-гоматери они могли слышать только по «Голосу Америки» или по другой зарубежной радиостанции на русском языке). О заграничных радиопередачах говорит и хозяин:

«— Прошел у нас слушок — деньги опять будут менять. Кто-то поймал по радио краем уха, что где-то готовится денежная рефор-ма, и — в панику. Забегали из дома в дом, а утром целой толпой в сберкассу. Очередь выстроилась от угла до угла — и все из при-города».

Кто еще живет в пригороде?

«— Тут недалеко живет один безногий майор в отставке, и земли у него десятина. Устроился ничего. Но есть живут лучше. Знаешь

Козла, Павлушку? Был в нашей деревне когда-то последним единоличником. Одним-единственным. В колхоз ни за что не хотел. А когда его налогом прихлопнули — подался в город... Живет себе — в масле катается...

— Но вы-то живете между землей и небом, — заметил я.

— В самый раз, — улыбнулся хозяин, — ни жарко, ни холодно».

Владимир Канторович в очерке «В черте города» («Наш современник» № 2, 1956) описывает семью другого жителя пригорода — беглеца из индустриализованного города:

«Глава этой семьи проработал на производстве добрых тридцать лет, он квалифицированный рабочий, мастер. Перед войной ему удалось построить дом и освоить участок. В пристройке мычит корова, хрюкает свинья, куры и гуси хлопочут на дворе. Семья потеснилась, чтобы сдать угловую комнату жильцу. Участок возделывается под помидоры и цветы — наиболее товарные и доходные культуры. Жена и обе дочери — невесты заняты только хозяйством... В базарные дни они стоят за прилавком на рынке. И уже давно в этой семье сделано открытие, что выгодно скормливать скотине и птице хлеб, покупаемый по государственной цене в магазине. С недавнего времени рыночные доходы семьи увеличил сын-техник — он приобрел с отцовской помощью «Москвича». Теперь, по воскресеньям помидоры, цветы и мясо вывозят на своей машине в областной город».

К тому же слою относится и большинство жителей маленьких провинциальных городков. Вот как описывает их С. Кружилин в рассказе «Жизнь сызнова» («Наш современник» № 1, 1956):

«За последние годы численность населения городка удвоилась. Исполком райсовета не успевал выносить постановления об отводе участков для застройки. Что ни год — то новая улица...

Все это народ не городской, пришлый... из ближайших колхозов. Зацепится в какой-нибудь артели один — потихоньку тянет к себе другого. Поначалу устраивает на самой незаметной должности. А тому неважно, что делать, лишь бы служить и иметь приусадебный участок...

Перебравшись в Касьянов, кое-кто не терял связи с колхозом. В страдную пору, когда на селе особенно ощущается нехватка людей, „горожане“ появляются в своих деревнях. Их с охотой принимают на любую работу. За трудовни, конечно, никто из них снопа не свяжет: им плати рублем или натурой. Другие подрабатывают на строительстве. „Дикие“ строительные бригады круглый год кочуют из колхоза в колхоз».

Судя по очерку М. Черкасовой «Половодье» (Октябрь» № 7, 1957), теперь жителей городков уже не соблазняют свободные колхозные приработки:

«— Надо было хоть бы дополнительной оплатой организовать людей.

— Где же я их возьму? Пригород, кругом соблазны, тянет народ на легкий заработок. Никакой оплатой не приманишь».

Интересно, что среди беглецов из деревни и города немало и членов партии. В том же рассказе С. Кружилина говорится:

«Только треть коммунистов района жила и работала в колхозах. Остальные две трети — около шестисот человек — находились в самом Касьянове. Чем они заняты здесь?.. Многие из них „прилепились“ к городку. Промышленности, если не считать элеватора и авторемонтного заводика, здесь не было. Люди, которых в годы коллективизации помнили активистами на селе, сейчас служили в артелях, всевозможных заготконторах..., а многие просто заведывали столовыми, парикмахерскими и даже работали сторожами».

Как относятся жители пригородов и городков, в том числе и члены партии, к работе по службе, об этом вскользь рассказывает Ю. Нагибин в «Хазарском орнаменте»:

«Рыбачок заключит договор на четыре-пять центнеров, килограммов тридцать сдает, остальное на рынок. Очень свободно! Известно, не обманешь, не проживешь! У нас и охота круглый год. Нам иначе нельзя».

Новый социальный слой образовался из беглых колхозников, рабочих, служащих, инвалидов войны, военнослужащих в отставке. Слой этот крепнет в условиях всеобщей нехватки товаров народного потребления и продуктов питания: по самым скромным подсчетам, треть городского населения кормится за счет личных хозяйств пригородов и городков. Личное хозяйство — это, так сказать, «производственная основа» нового слоя. Психологическая его основа — неистребимая тяга человека к хозяйственной и личной независимости.

Партийную диктатуру весьма беспокоит и рост нового социального слоя и его независимость. Она ведет с ним непрестанную борьбу: постановление Совета министров СССР «О мерах борьбы с расходованием из госфондов хлеба и других продовольственных продуктов на корм скоту» (лето 1956 г.), постановления о так называемых «паразитирующих элементах» (осень 1957 г.) и другие милицейские меры — все это отдельные этапы борьбы с растущим слоем жителей пригородов и городков.

## Эмиграция

Впервые тип советского эмигранта промелькнул в литературе в романе Эм. Казакевича «Дом на площади». Затем в Москве была поставлена пьеса бр. Тур о советских Ди-Пи во Франции. Одновременно, после многолетнего перерыва, в художественной литературе появилась старая эмиграция: стали печатать «Собрания сочинений» Ив. Бунина, появились статьи-воспоминания о Бунине. С января 1957 года в «Знамени» печатался роман Наталии Ильиной «Возвращение» — из жизни русской эмиграции в Китае, с февраля в «Новом мире» — воспоминания Льва Любимова «На чужбине» — из жизни русской эмиграции во Франции. В августе и сентябре «Звезда» печатала роман А. Розена «Времена и люди», в котором фигурирует советский военнопленный.

Сам факт эмигрантской тематики в советской литературе в таком объеме явление новое. Многие в ней совпадает с политикой пресловутого комитета «За возвращение на родину» генерала Михайлова. Ценность советской литературы об эмиграции — в другом: она дает представление о том, что знают об эмиграции внутри Советского Союза и почему эмиграция беспокоит партийную власть.

Прежде всего партийную власть беспокоит сам факт существования в мире многочисленной эмиграции из Советской России. Внутри СССР люди не только знают об эмиграции, но, видимо, думают о ней как об оппозиции режиму, активно действующей за границей. Похоже на то, что среди советских людей существует преувеличенное представление о культурном уровне нынешней эмиграции: думают, что он соответствует уровню старой эмиграции.

Такие произведения, как роман Ильиной, воспоминания Любимова и другие, рассчитаны на то, чтобы разбить подобное мнение об эмиграции. При этом надо отметить, что воспоминания Любимова написаны довольно свободно и талантливо, несмотря на множество подтасовок.

Среди советских людей явно существует мнение, что эмиграция добилась определенного положения и признания на Западе. Разбить это представление — другая задача, которую ставит партийная власть перед некоторыми из советских писателей. Советские эмигранты военного времени, как правило, представлены или «заблудшими овцами» или запуганными людьми, при этом признается и известная доля вины сталинского террора. Именно так пишет Эм. Казакевич (смотри главу «Армия»).

Тему советского военнопленного затрагивает и А. Розен в романе «Времена и люди», напечатанном в близком Главному Политуправле-

нию Советской армии журнале «Звезда». В отличие от романа Казакевича тема эта у Розена подана не в плане личности военнопленного, а в плане отношения к нему сына, его бывшего командира и других людей, живущих в СССР.

«Пришло письмо о том, что жив отец Саши Турчанова. Дата отправления 23 октября 1945 года. Александр Николаевич Турчанов, год рождения девятьсот пятый, старший сержант, командир отделения. Был взят в плен в 1944 году. Содержится в Западной Германии, в Прирейнском лагере».

Обращают внимание слова — «взят в плен в 1944 году», то есть в конце войны — автор словно оговаривает, что его отношение к Турчанову не распространяется на тех, кто попал в плен в начале войны. Писатель явно передергивает, говоря, что в октябре 1945 года советские солдаты в Западной Германии продолжали сидеть в лагерях военнопленных.

Бывший командир сержанта Турчанова — майор Федоров говорит по этому поводу:

«— Ах, подлецы! До сих пор держат!.. Но не навсегда это, не век же Александру Николаевичу в неволе томиться... Турчанов в плену. Лагерь. И вы и я знаем, какие привычки у хозяев этого лагеря. На все идут. Вербуют предателей из наших же людей. Ну, а ежели Турчанов Александр Николаевич отрекся от своей родины, как тогда?..»

Сын Турчанова, узнав, что отец жив и находится в Западной Германии, говорит:

«— Он... он молчать будет. Верно?  
— Почему молчать, Саша, не понимаю?  
— Герой — значит, молчит. Что бы ни было. Это я знаю. Молчит...»

Тут автор романа и проговаривается: его начальство требует от Ди Пи молчания.

Все литературные произведения, в которых фигурируют эмигранты, в той или иной форме стараются добиться молчания эмиграции на Западе. Так Эм. Казакевич высмеивает выступления перебежчика-майора Воробейцева:

«Он ходил и ездил по редакциям и радиостанциям... Говорил в высокопарных выражениях и, несмотря на то, что он только один день как находился вне рядов русской армии, уже выражался как-то не по-русски, какими-то странными, словно переведенными с иностранного языка фразами... Воробейцев сказал, что он просит политического убежища, так как из-за политических несогласий с коммунистической партией и советским правительством скрылся из советской зоны».

Автор романа передергивает: в 1945 году в Западной Германии не было радиостанций на русском языке, да и перебежчиков западные власти тогда встречали по-иному.

«Воробейцев объяснял, что удрал потому, что в Советском Союзе нет свободы; что в высших учебных заведениях там принимают только коммунистов и комсомольцев, что все там получают только половину заработной платы, а вторая половина идет в пользу ГПУ; что ярким доказательством рабства, существующего в Советском Союзе, может явиться то, что комендантом было категорически приказано всем офицерам немедленно жениться; что советские власти в Германии решили арестовать всех учителей; солдаты забирают машины у немецкой интеллигенции, а советские власти, потворствуют им».

Прежде в советских произведениях выступления советских эмигрантов на Западе вообще замалчивались, но перечень Казакевича, о чем будто бы говорят эмигранты в своих выступлениях, с головой выдает партийных заказчиков писателя: они боятся свидетельств советских людей, их рассказов о своей жизни в СССР, о жизни своих близких, то есть того, о чем обычно эмигранты и рассказывают на Западе.

Больше всего партийную власть беспокоят, — если судить по литературе, — зарубежные радио-передачи на русском языке, особенно передачи с выступлениями эмигрантов. Журнал «Знамя» (№ 10, 1956) пишет: «В Советском Союзе около двадцати миллионов радио-приемников» — это значит, что заграничные радиопередачи слышат многие. Для того, чтобы очернить радиовыступления эмигрантов, писателям приказано писать об их «иностранном акценте».

Так Марк Максимов в стихотворении «Чужой голос» («Новый мир» № 2, 1957) пишет:

«В блиндаже закружил, зашуршал под брезентом  
русский голос с чужим, иностранным акцентом.  
Он участливо выл, рассыпаясь на части, —  
все о наших ошибках, да о наших несчастьях,  
он без боли вещал, он трещал без запинки:  
ведь мои — не его — на рябине кровинки!  
Он, пиная, клеветал, в измышленьях не мешкал,  
пену злости у рта выдавал за усмешку,  
он так ловко юлил, брал так нежно за локоть,  
что хотелось мне

выйти

и танки потрогать».

В этой рифмованной ругани по адресу русских зарубежных радиопередач ясно одно: советские танкисты слушают эти передачи — «в блиндаже — под брезентом». Поэт признает, что в передачах говорится о том, что он называет «нашими ошибками», «нашими несчастьями». Все попытки опорочить передачи сводятся к тому, что он выдает их за «переводы с иностранного», — тем самым вызывая у советского читателя раздражение против вмешательства иностранцев в их внутренние дела, на которых кровь и пот советских людей — «ведь мои — не его — на рябине кровинки».

Далее поэт пишет:

«Вышел. Танки стоят. Часовые у пушки.  
Прикури у солдат и послушай частушки.

Мать-земля широка! Дай, товарищ, огня!  
Штык горит у древка, ходит ротный с часами...  
В ночь такую была бы надежна броня,  
а в делах своих мы  
разберемся и сами».

Последняя мысль слышна и в стихотворении Л. Мартынова «Первородство» («Октябрь» № 12, 1956):

«Извне невозможно вмешаться,  
Не крикнешь: — Назад поверни!  
Дела эти могут решаться  
Лишь там, где творятся они».

События внутри СССР последнего времени показали, как понимает партийная власть эту мысль поэтов — все дела в стране попрежнему решает партийная верхушка, выдавая свои решения за мнение народа.

Правильная по-сути мысль «разберемся сами» у поэтов направлена против зарубежных радиопередач в расчете на чувство национального достоинства советских людей. Но мысль эта, как аргумент, теряет сою силу, — по радио из-за границы говорят земляки-эмигранты. Поэтому писателям и приказано изображать зарубежные радиопередачи на русском языке «переводами с иностранного».

Но советский слушатель, видимо, узнает в этих передачах и «свой голос» — это косвенно признает поэт Леонид Мартынов в весьма двусмысленном стихотворении «Голоса» («Знамя» № 3, 1957):

«Мне  
Не дают уснуть  
Хор смутных голосов.  
Я не хочу замкнуть  
Пространство на засов.  
И голоса кричат,  
Стучат в железо крыш,  
Трещат и верещат:  
— Услышь,  
Услышь,  
Услышь!  
Все это про меня,  
Все это обо мне...  
На разных языках  
Земные голоса.  
О, эти голоса.  
Я вслушиваюсь в них!  
Но чей же раздался  
Отчетливей других?  
Мой это голос, мой!  
. . . . .  
И вам я заглушить  
Не разрешу его.  
И за меня решить  
Не дам я ничего!»

С одной стороны, та же мысль — «И за меня решить не дам я ничего», с другой — признание: «Мой это голос, мой!»

Заметно в художественных произведениях, что партийная власть боится той перемены к лучшему в приеме советских эмигрантов на Западе, которая произошла в последние семь-восемь лет. Советские люди, видимо, знают об этой перемене и связывают ее с растущим пониманием Запада политического значения эмиграции.

Э. Казакевич, стараясь опорочить хороший прием новых эмигрантов на Западе, пишет о жизни своего героя майора Воробейцева в американской зоне Германии:

«Жил он вольготно и привольно и чувствовал себя до некоторой степени героем дня. Он дал несколько пресс-конференций. К нему в отель приходили отщепенцы из бывших власовцев и просили его протекции для устройства на работу. Он говорил, что ему взбредет на ум, и ему верили или притворялись, что верят. Ему давали деньги и в марках и в долларах и разрешали посещать офицерский бар, где всегда было весело и шумно и куда ходили немки, предварительно освидетельствованные американским врачом-венерологом. Ему обещали, что он совершит путешествие — нечто вроде пропагандистского турне — по Соединенным Штатам и Южной Америке. Он хотел побывать в Париже, и ему обещали, что он там будет».

Но понимая, что и подобный прием может соблазнить кое-кого из советских людей, Казакевич дает ему свое «продолжение»:

«Они стояли тесным кружком. Вдруг Билл, глядя на Воробейцева со спокойной улыбкой, поднял правую ногу и сильно ударил Воробейцева кованым каблуком ботинка по носку хромового сапога. Удар был неожиданный, хамский, беспричинный — просто так, потому, что ему это захотелось сделать, и потому, что он знал, что Воробейцев не может ему ответить тем же. Это был удар по русскому, лишенному защиты родины... Никто не ожидал этого удара и тем не менее остальные американцы продолжали с подчеркнуто скучающим видом разговаривать и шутить, как будто ничего не произошло, Воробейцев, униженный, дрожащий, вдруг с предельной силой понял, что он одинокий, как перст, мерзавец, которого никто не защитит на свете... И вдруг он понял с поразительной ясностью, что не будет ему никакой легкой жизни и никаких путешествий и что через короткий срок он будет рядовым отребьем и отщепенцем среди таких же, как он. И он, наконец, припомнил, кому принадлежало то лицо — окровавленное, бородатое, с полными ужаса глазами. Они принадлежали тому изменнику родины, которого убивали медленно и методично, разоблачившие его».

Этим нагромождением глупой выдумки об американцах и об их отношении к советским беглецам Казакевич надеется восстановить советского человека против американцев, удержать его от соблазна ухода на Запад, а главное — запугать эмигрантов будущей расправой.

До 1956 года советские писатели об эмиграции не писали, но то, что они пишут, чести им не делает, — это не столько литература, сколько приложение к чекистским действиям КГБ генерала Серова.

К чести эмиграции — она к советским писателям относится иначе: понимает, что не от легкой жизни они калечат свои произведения.

Видимо, партийная диктатура убедилась, что подобная тактика в отношении эмиграции, проводимая в советской литературе в период 1956-57 г., не оправдала себя: в начале второй половины 1957 года партийная власть была вынуждена начать с эмиграцией идеологический спор. Сделано было это не в художественной литературе, а в журнале Академии наук СССР («История СССР» № 3, июль-август 1957 г.). Журнал Академии наук открыл спор с русской эмиграцией по вопросам истории и философии в большой статье-рецензии на книгу С. Франка «Биография П. Б. Струве», изданную в 1956 году в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова.

Автор статьи некто Ю. Ф. Корякин, без обычного для партийной печати ругательного тона по адресу эмиграции, выступил против либерализма и «веховства» среди эмиграции. При этом в статье признается, что в книге политического эмигранта имеется даже доля правды:

«Отвергая общие оценки Франка, мы используем некоторые факты из рецензируемой книги и имеющиеся в ней вынужденные признания правды».

Так о книгах эмигрантов советская печать никогда не писала! Против «веховства» Ю. Корякин выступает не случайно:

«Книга Франка о Струве является одной из целой серии веховских (и вообще белоэмигрантских) работ, появившихся за последние 10 лет. Кроме того, в настоящее время наблюдается тенденция переиздания и перевода на различные языки старой веховской литературы. У многих идеологов современной буржуазии наблюдается явное стремление использовать опыт веховцев по борьбе с коммунизмом... Об одном только Бердяеве написаны сотни статей и более десятка книг, его многочисленные работы переводятся на различные языки. Организовано даже международное «Общество Бердяева»... Все это является результатом осуществления той своеобразной пропаганды вооружения, которая была провозглашена веховцами после 1917 г.: „Для борьбы в современном мире нужно усовершенствованное умственное и духовное оружие, и мы, хотели бы способствовать выработке такого вооружения“ («Путь», орган русской религиозной мысли, Париж, 1925 г. № 1, стр. 7)... Многие современные буржуазные историки русской общественной мысли, как на высшие авторитеты, ссылаются на веховцев».

Ю. Корякина и его партийных хозяев явно беспокоит, что западная общественность все больше и больше прислушивается к эмиграции, к ее опыту борьбы с коммунизмом, к ее знаниям сущности коммунизма. При этом, речь идет не только о старой эмиграции, а и о новой, советской — Ю. Корякин новых эмигрантов называет «последователями веховцев»:

«Надежды на „исправление России“ не оставили и сами веховцы и их последователи. Весьма показательны в этом отношении недавние признания Глеба Струве (сына П. Б. Струве). Он пишет, что „новая эмиграция“ (то-есть предатели советского народа) „быстро приобрела влияние, к ее голосу стали прислушиваться и правительственные учреждения (особенно в США), и общественные органи-

зации — в размерах, в которых это не снилось старой эмиграции". (Глеб Струве. Русская литература в изгнании, Нью-Йорк, 1956 г., стр. 387)».

Ю. Корякин в своей статье ссылается и на другие книги русских эмигрантов. «Вопоминания», том 1, П. Н. Милюкова, Нью-Йорк, 1955 г.; «Русская идея» Н. А. Бердяева, Париж, 1946 г.; «Истоки и смысл» русского коммунизма» Н. А. Бердяева, Париж, 1955 г.; «Задача России» В. Вейдле, Нью-Йорк, 1956 г.; «Свет во тьме» С. Франка, 1942 г.; Сборник, посвященный С. Франку, Мюнхен, 1954 г.

Ю. Корякин приводит также цитаты из эмигрантских газет: «Путь» и «Последние новости» — и полемизирует с иностранными авторами, пишущими на проблемы, поднятые русскими эмигрантами.

Судя по статье Ю. Корякина в журнале Академии наук СССР, рассчитанном на широкие круги советских историков, преподавателей, студентов, — советские люди знают и о деятельности и о книгах эмиграции. Один немецкий историк, недавно вернувшийся из Советского Союза, рассказывает, что в Ленинграде за высокую цену можно достать книги, изданные русским издательством имени Чехова в Нью-Йорке. Большую роль играют, видимо, и радиопередачи на русском языке из-за границы: «Освобождения», «Голоса Америки», ЦОПЭ и других (радиостанция «Освобождение» в своих передачах постоянно рассказывает о книгах и о других делах эмиграции).

Статья-рецензия на русскую книгу нью-йоркского издательства имени Чехова в журнале Академии наук СССР говорит нам, что партийная диктатура внимательно следит за деятельностью эмиграции и что партийных вождей в Советском Союзе серьезно беспокоит идеологическая сторона этой деятельности, — беспокоит потому, что она находит какой-то, нам еще неизвестный, отклик среди советских людей.

## Религиозность

Одна из заслуг советской литературы рассматриваемого периода — в том, что она ответила на вопрос: в какой мере удалось тотальной коммунистической власти с ее материалистической идеологией подавить в народе религиозное чувство.

Многие склонны думать, что в Советском Союзе религиозны только старые люди. Но в произведениях 1956–57 года видно, что религиозные настроения в СССР встречаются среди людей всех возрастов.

Вот как описывает Н. Вирта в романе «Крутые горы» верующего колхозного подростка.

Приехавший в колхоз первый секретарь Обкома Токарев заходит в правление, где застаёт одного посыльного:

«— Здравствуй, молодой человек. Ты за кого будешь?

— За курьера, — робя, ответил Федя.

— Хорошая должность?

— Ничего. Способная. Хожу больше.

— А зовут тебя как?

— Федя. Кармыковы мы.

— Здешние?

— Ито. Батка столярничает. А ты, болтают, тоже здешний?

— Работал здесь. Давно это было, Федя.

Федя вздохнул.

— Здрово ты приподнялся.

— Да уж так вышло. Глядишь, и ты приподнимешься.

— Куды!

— А что читаешь?

Федя оробел.

— Обедню.

— Как?

— Обедню, слышишь.

— А ну, дай загляну, давно этого не читывал.

Токарев начал листать растрепанную книжку — описание обрядов и текст литургии.

— Значит, в Бога веруешь?

— А как же. Без Бога ни до порога.

— Бог, значит, все может?

— А как же.

Токарев покосился на Федю.

— Ты, часом, не просил его, чтобы он бельмо с твоего глаза снял?

— Просил.

— Ну и что?

— Не дал своей милости. За грехи.

— Какие же это у тебя грехи? — рассмеялся Токарев.

Полная бесхитрость и честность были просто написаны на бледном лице Феде. Федя сказал:

— Разные. Ругаюсь. Мамане воды иной раз не принесешь...

— Я пришла тебе книжек. Понятных, не бойся. Там написано про нашу землю, как она появилась, откуда произошел человек, растения и звери, о небе, звездах, отчего бывают дожди, грозы, молния и почему дуют ветры...

— А Бога в них не ругают, в книжках-то?

— Нет, Федя.

— А то чего Его обижать?.. И Дева Мария... Женщина все-таки. Да и Христос... Никого не обижал. Они добрые, слышь.

— Из-за Христа, Федя, много крови было пролито, совсем неповиной... И об этом книжку пришло.

— А там не лжа? — с сомнением спросил Федя.

— Зачем мне ложь тебе внушать, подумай.

— Это верно. Говорят, ты самый главный...

— Да как сказать...

— Самым-то главным, поди, лжа вовсе не подобает. Я слышал, папаня говорил: тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу.

Токарев нахмурился.

Нахмурился первый секретарь Обкома партии от бесхитростных слов колхозного подростка. Детская вера оказалась сильнее умных аргументов партийного руководителя области.

А вот комсомолка Надя из одноименного рассказа О. Горчакова («Литературная Москва» № 1, 1956):

«Поднял с земляного пола пожелтевшую от времени книжку, прочел на первой странице: „Четьи-Минеи“.

— Что, в Бога верите? — спросил он. — Вот не знал!

— Нет, что вы! То мамина книжка, — ответила Надя. — Я комсомолка. А вот в судьбу верю».

Вера в судьбу — к чему она ближе: к коммунистическому мировоззрению или религиозному чувству? А ведь комсомолку Надю с детских лет пичкали коммунистической идеологией. Видно, не может дать эта идеология духовной пищи, которой жаждет душа человека.

Комсомолец-чекист в повести П. Нилина «Жестокость» рассказывает своему другу:

«— Ты думаешь, все это вот так просто? Моя мать вон какая умная женщина, все понимает... А верит в Бога. И ходит в церковь... А Лазарь мне на-днях говорит: „Вы, коммунисты, попов не признаете. А ведь попы не сами себя выдумали... Ведь был какой-то порядок. И вдруг все сломалось!“».

Именно так: с религией у многих советских людей связано чувство порядка в мире. Тоска по утерянному душевному покою постоянно усиливается неуверенностью в завтрашнем дне, полной зависимостью советского человека от то и дело меняющегося политического курса власти. Все это у многих порождает религиозные настроения.

В. Каверин в «Поисках и надеждах» описывает, как ученый-партиец —

«раз и навсегда запретил жене ходить в церковь. „А ведь это для

многих женщин, особенно одиноких, — с глубокой уверенностью сказала Глафира Сергеевна, — все-таки облегчение, утешение».

Кто знает: не запрети муж Глафире Сергеевне ходить в церковь, может быть, не кончила бы она жизнь самоубийством.

Религиозное чувство, загнанное вглубь, продолжает жить даже в сознании иных ответственных коммунистов, хотя они и не подозревают об этом... Ник. Жданов в рассказе «Поездка на родину» пишет о таком ответственном коммунисте Варыгине, приехавшем в деревню на похороны матери. В церкви его встречает молодая акушерка:

«— А мы уж думали, вы не приедете... Вы, может, рассердитесь, я сама тоже неверующая, но только Мария Семеновна настаивала: хоронить ее по-старому, по-христиански...»

Священник читал нараспев молитву и, казалось, обращался к одной только матери, которая лежала неподвижно, сжав бескровные губы. Из тьмы выступали плоские лики святых, нарисованные на иконостасе. Запахло ладаном, и этот запах так же, как звучащие в сумраке слова «аще», «яко», «паче» — напомнили Варыгину детство, когда он ходил с матерью в эту церковь и даже пел на клиросе...

Потом он опять перебирался по кривому бревну через речку, над которой курился легкий дымок, похожий на ладан..., и ему казалось, что он только что был в мире, который, по всем его понятиям уже давно не существовал на свете.

Тихон Журавлев в очерке «В пригороде» пересказывает услышанный им один из устных религиозных рассказов, которые ходят в народе:

«Вечером, под самый Спас, колхозный сторож заметил в поле у самой ограды огонь. Он туда: „Наверно, ребятишки-бесенята костер оставили, и как бы на скирду его не перекинуло“. Дошел поближе — нет, не ребятишки... Снял чуваки и по за скирдой подкрался... Выглянул из-за угла, и что же — сидит Христос в лаптях с котомкой за плечами, а напротив — женщина, мать Господня. „Вот — говорит ей Господь, — испытывали мы людей и войной, и голодом... Люди о нас не вспомнили. Давайте-ка теперь испытаем их еще хорошим урожаем!“ „Давай“ — соглашается Пресвятая Богородица».

Эта народная притча рождена религиозным мироощущением в гуще советского народа. И смысл ее не так прост: те люди, которые в годы лишений, нужды, борьбы с врагом забыли Бога, вернутся к нему, когда освободятся от забот о хлебе насущном. Многие из них уже говорят: «не хлебом единым жив человек».

М. Алексеев в «Наследниках» вспоминает других людей — тех, кого, наоборот, страдания вернули к Богу и говорит о «вновь выставленных по случаю войны образах святых».

Будь у советских писателей возможность писать свободно, многие из них, несомненно, осветили бы глубже и шире проблему религиозных настроений и религиозных поисков в советском народе. Вряд ли писатель, будь на то его воля, прошел бы мимо фактов, подобных тем, о которых партийная печать вынуждена писать. Например, о том, как на Смоленщине техник-строитель Семкин, член партии, пропагандист райкома, по воскресеньям проводил религиозные беседы среди населения. Или, как кандидат биологических наук, специалист по

высшей нервной системе, член бюро парторганизации Ленинградского научно-исследовательского института Академии Медицинских Наук — Федоров-Березовский отказался читать антирелигиозные лекции, заявив испуганному парторгу: «Я — человек верующий».

Какая огромная по трагизму и благодарная для писателя тема — раскрыть и показать внутренний мир таких людей, как техник Семкин, как ученый Федоров-Березовский!

Советские писатели в 1956-57 году успели написать очень немного на эту тему, но и это немного говорит о духовной несостоятельности коммунистической идеологии: религиозные настроения, религиозные поиски — это поиски выхода из духовного тупика.

# Любовь

У каждой исторической эпохи имеется свой литературный памятник о Любви: любовь Ясона и Медеи, Герио и Леандра, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, Отелло и Дездемоны, Вертера и Шарлотты, Татьяны и Онегина, Анны и Вронского — и другие. Как правило, истории о любви в памятниках мировой литературы кончаются трагично. Но, несмотря на это, любовь героев их остается бессмертной — поколения людей черпали и будут черпать из трагедий Любви жизнеутверждающую силу, ибо Любовь — высшее проявление жизни на земле — погибнуть не может.

В каждом литературном произведении, выдержавшем испытание временем, любовь двух человеческих существ встречает сопротивление каких-либо сил современного им общества. Силы эти, в конце концов, и приводят к трагической развязке. Так — в книгах, но в жизни происходит обратное: в жизни то, что стояло на пути любви литературных героев погибло. Ромео и Джульетту погубила родовая вражда Монтекки и Капулетти, Катерину в «Грозе» Островского погубило «темное царство» купеческой России, нравы высшего света России 19-го века бросили под поезд Анну Каренину. На поверку же времени любовь этих литературных героев живы и поныне, а то, что противостояло любви, — давно исчезло.

Одним словом, история показала: социальные силы, противостоящие человеческой любви, обречены на гибель, ибо идти против любви — значит идти против самой жизни.

Советская литература дала по-сути только одно произведение о любви, в правду которой люди верят вот уже два десятка лет. Очень похоже, что произведение это выдержит испытание более длительного времени. Произведение это — «Тихий Дон» М. Шолохова — история любви Григория Мелихова и Аксиньи. Что случилось с их любовью — знает каждый: советская власть догнала и застрелила Аксинью, а тем самым и любовь. Большой многолетний успех «Тихого Дона» у миллионов читателей показывает, что Шолохов психологически правильно вскрыл основной конфликт советской эпохи — несовместимость человеческой любви и режима, насильно навязанного человеку коммунистической диктатурой.

В советской литературе, как во всякой литературе, о любви писалось много, но читатель не верит этим лубочно-«производственным» любовным историям с идеологически выраженным счастливым концом.

В 1956-57 году в советской литературе проглянула настоящая любовь. И хотя писатели говорят о ней робко, с оглядкой, с оговорками,

читатель узнаёт ее и, главным образом, — по ее трагическому звучанию, по ее конфликту с советской действительностью.

Именно этим объясняется большой успех у советского зрителя пьесы Н. Погодина «Сонет Петрарки», шедшей в Москве в прошлом сезоне. Пользуется пьеса успехом и у читателя. Зато партийная критика полна злобных нападок и на пьесу, и на ее автора.

Герой пьесы ответственный партиец Суходолов вдруг затосковал по любви:

«— Я двадцать лет строил... Не пора ли учиться любить»...

Он преуспевающий начальник крупных строительных, но чувствует, что в жизни нет чего-то главного. Он приходит к пониманию, что главное это — Любовь. Суходолов много лет женат, но любви в его браке не было и нет. Он влюбляется в комсомолку Майю.

Секретарь Обкома партии спрашивает Суходолова:

- «— Скажи серьезно, как определить твою любовь?
- Любовь ли это?.. Другое что-то..., может быть, одна мечта.
- Мечта... Но о чем мечта?
- Как о чем? Ни о чем.
- Так не бывает. Мечта есть высшее стремление души к чему-то, ей, душе, недостающему. К чему?
- Я не знаю».

Умный секретарь Обкома правильно определяет состояние Суходолова: «стремление души к чему-то, ей, душе, недостающему»; видимо, и он чувствует то же, что и Суходолов. В другом месте пьесы Суходолов говорит о своей любви определеннее:

«— Нет, это не любовь, а ее потребность... желание любви».

Основную идею пьесы Н. Погодин передает цитируемым в пьесе сонетом Петрарки:

**«Я так могуче стану петь любовь,  
Что в гордой груди тысячу желаний  
Расшевелю и тысячью мечтаний  
Воспламеню бездейственную кровь!»**

Исходя от обратного, читатель понимает: несмотря на многолетнее «строительство» суходоловых, духовная жизнь идет к застою — к «бездейственной крови», и только любовь может «расшевелить» души людей, а вместе с ними и жизнь людскую.

Вот как об этом говорит влюбленный Суходолов:

«— Я, Суходолов, известная личность, строитель, член партии, называю эту девочку своей песней... В моем **существовании** произошла какая-то перемена. Легче дышится, лучше к людям отношусь... Появилось вдохновение в работе... Словом, в этот дождливый вечер, бродя по улице, я испытывал чувство полного счастья».

На это признание Суходолова друг его юности музыкант Армадо замечает:

«— Значит ты, Суходолов, еще человек».

А это значит, что «известная личность», строитель, партиец Суходолов до того, пока не познал любви, не был человеком!

Секретарь парторганизации Дононов к любви относится по-иному: он чувствует в любви опасность для партийных порядков:

«— Любовь не только ничего не решает, но даже мешает».

Показателен разговор между Суходоловым и секретарем Обкома, который требует от члена партии Суходолова отчета в его любви. Суходолов защищается:

«— Нет, на эту тему не могу говорить ни с кем... Есть в жизни человека вещи, которые бывают выше и сложнее наших обыкновенных понятий!..

— Сядь и напиши объяснение.

— Ничего писать не буду.

— Ну, смотри..., тогда не плачь.

— У одного русского классика сказано, что даже отцу с сыном, а не только нам с тобой, нельзя говорить о своих отношениях с женщиной, пусть эти отношения будут самыми чистейшими. Почему мы не можем следовать законам, установленным великой моралью?

— У кого это сказано?

— У Достоевского...

— С кем ты отказываешься говорить?! Ты с партией отказываешься говорить...

— Пойми, что опять-таки есть вещи, которые нельзя высказывать партии».

Из этого диалога не трудно понять: стоило в душе коммуниста проснуться чувству любви, как оно становится сильнее и партийной дисциплины и других советских «понятий». Любовь делает человека бунтарем против всего, что связывает его внутреннюю свободу. Рождается новое ощущение жизни, интимное, полное человеческого достоинства, высокое и сложное, объяснить которое примитивная партийная идеология не может — объяснение ему коммунист Суходолов ищет не у Маркса-Ленина, а у... Достоевского!, в вечных законах, «установленных великой моралью»!

Н. Погодин пытается найти компромисс между любовью и партийностью, но талант художника берет верх: в конце пьесы попытка эта оказывается несостоятельной: любящая Майя вынуждена уехать от Суходолова, а Суходолов вынужден отказаться от любимой. На прощанье Майя говорит Суходолову:

«— Я сделала бы для вас все, на что может быть способен человек, когда он любит... А теперь прощайте... до слез... И помните, что я... словом, если позовете, все брошу, прилечу».

Майя словно говорит советским суходоловым: только от вас самих зависит, чтобы любовь вернулась в вашу жизнь.

В Суходолове все еще сильна рассудочная партийность, годами насаждаемая партийной идеологией, — он в смятении:

«— Ушла... и звезды падают... Нет, когда мысли путаются с

чувствами и сам не знаешь, где мысли и где чувства, когда твое сердце восстает против разума... Да, о чем я бормочу?! Вернуть ее надо...

Нет, не разрешили сухополовым «вернуть ее»! Партийные вожди боятся любви: кто-кто, а они знают, что любовь несовместима с тем порядком, который они навязали человеку. Именно поэтому партийная критика продолжает поносить пьесу Погодина.

Во всех литературных произведениях 1956-57 года, где есть тема любви, красной нитью проходит этот безнадежный конфликт любви с советской действительностью. Браки в этих произведениях — без любви, если где и нарождается любовь, то действительность рано или поздно наступает ей на горло кованым своим сапогом — запретов, тяжелой работы, нищенской жизни, требований рабского послушания, подавления личности государством. Главное в этом конфликте, конечно, — духовное рабство советского человека: полюбивший раб всегда или погибает, или жертвует любовью; или перестает быть рабом — бежит или бунтует.

Понятно, партийный хозяин боится бегства раба, а тем более бунта. Именно потому так напугал партийное начальство поэт П. Севак своей поэмой «Нелегкий разговор» («Новый мир» № 6, 1956) — поэмой о браке без любви, о любви под партийным прессом «коллективности» и о восстании любви.

**«Собрание шло часов примерно пять.**

**Все обсудили. Вынесли решение:**

**с тобою «отношения порвать».**

**Название-то какое — «отношения»!**

.....

**А кто-то встал и голосом могучим**

**все фразы отодвинул, как плечом:**

**«Не зря ли здесь мы человека мучим?**

**Нельзя ко всем дверям с одним ключом...**

**Вот о семье тут говорили страстно.**

**Да, муж и сын... Она жена и мать.**

**Но если нет в семье любви, мне странно:**

**Зачем семью такую сохранять?!**»

**Другой, отпор давая громким фразам,**

**всем юным жаром поддерживал его:**

**«Да что вы все твердите — разум, разум...**

**Разумней сердца нету ничего!»**

**Спасибо вам, что вы со мною были...**

**Но как другим советам я последую?**

**Последний раз меня предупредили,**

**и может быть, любовь моя — последняя?!**

.....

**Да, ты жила, любви не понимая...**

**Любовь игрушкой может быть подчас,**

**но не из тех игрушек, что ломаем, —**

**из тех игрушек, что ломают нас...**

Себя воспоминаниями тревожу я.  
Люблю тебя. Все остальное ложь.  
Хочу я дочку, на тебя похожую,  
а ты — ты мальчика, что на меня похож.  
.....

Все валится, ломается, все рушится,  
а голова, как у обрыва, кружится,  
и ничего теперь уже не выправить...  
Вот чьи-то лица из тумана выплыли.  
Их много, лиц, насуплено, нахмурено.  
Зеленый стол. Наспорено. Накурено.  
О чем они? Пора уже не ранняя.  
Повидимому, важное собрание.  
Вот человек какой-то там стоит.  
Он что-то, заикаясь, говорит.  
Да это я... Попрежнему любя,  
я обещаю не любить тебя...  
Как быть? Себя себе не разрешать  
и ежедневно лгать благоразумно?..»

«Себе себя не разрешать» — вот формула внутреннего мира советского человека! Поэт к концу поэмы приходит к мысли о необходимости борьбы:

«Пробиться к счастью никому не просто.  
А нам с тобой сейчас трудней вдвойне.  
В любви необходимо нам героизм,  
необходимо, как и на войне».

Но мысль эта — о «необходимости героизма» — у влюбленного поэта только мысль.

«Что же нам делать? Что нам поможет?  
Люблю тебя. Не могу не любить.  
Сердце стучит, как будто Морзе  
ко всем обращается: «Как же нам быть?»  
Неужто нам отказаться с тобой  
от нашей любви, от боя за счастье?!

Нет, дорогая, мы примем бой!  
Стучит мое сердце... И в дверь стучатся...  
Бегу к дверям... Это ты! Это ты!  
Пришла. Сожгла за собою мосты.»

Не мужчина восстает против насилия над любовью, а женщина! В этом скрывается одна из самых интересных особенностей советского общества: женщина оказалась сильнее мужчины в защите своей внутренней независимости, в защите своей любви, своего дома, своего ребенка, жениха, мужа, в защите от непрерывного посягательства тоталитарной власти на личную жизнь человека. Советская женщина меньше боится, она духовно чище и цельнее мужчины. Женским сердцем своим, великим чувством материнства она чувствует, что отказ от любви — смерть!

Именно поэтому советские поэты и писатели много пишут о женщине — о ее великом терпении, о ее незаметном подвиге во имя любви.

«Ты кормилась бедой и обидой,  
Кровь и пот отирая с чела.»

(А. Межиров, «Октябрь», № 11, 1956)

«Война. Приуралье. Промозглость неба...  
 В столовой толпа и дощатый стол...  
 И плачет девочка: «Мамка, хлеба!..»  
 Уткнувшись обиженно в бабий подол.  
 А баба к обеду кусочек серый  
 Хранит, завернувши его в полотно.  
 И баба злится: «Заткнись, холера!..»  
 У бабы сердце в крови давно.  
 Ведь дочка не знает, что год этот труден,  
 Что скоро опять на работу в ночь...  
 А рядом усталые взрослые люди  
 Стоят и не могут ничем помочь...»  
 (Н. Коржавин. «Новый мир» № 10, 1956)

«Все слабели. Бабы не слабели —  
 В глад и мор, войну и суховей  
 Молча колыхали колыбели,  
 Сберегая наших сыновей.  
 Бабы были лучше, были чище  
 И не предали девичьих снов  
 Ради хлеба, ради этой пищи,  
 Ради орденов или обнов.»  
 (Борис Слуцкий, «Новый мир» № 10, 1956)

О том же преклонении перед советской женщиной пишет Ю. Нейман («Октябрь» № 3, 1957):

«За шаг, почти уверенный,  
 за невеселый смех,  
 за взгляд тоски немерянной,  
 припрятанной от всех.  
 По самой тайной совести  
 сложилось их житье.  
 Все чисто в этой повести, —  
 а мне ль не знать ее?!  
 Незрелыми состарились,  
 не просияв, запли,  
 на мелочь не позарились,  
 большого не нашли.»

В этих, по-некрасовски звучащих стихах о тяжелой доле советской женщины, поэты рассказывают, в каких условиях приходится жить Любви на советской земле.

Ев Евтушенко в поэме «Станция Зима» передает подслушанный им рассказ женщины, из которого видно, что беда не только в бедности жизни:

«— Ну, фикусы у нас, ну, печь-голландка,  
 ну, цинковая крыша хороша,  
 все вычищено, выскоблено, гладко,  
 есть дети, муж, но есть еще душа!  
 А в ней какой-то холод, лютый холод...»

Я раньше, помню, плакала бессонно,  
 теперь уже умею засыпать.

Какой я стала... Все дают мне сорок,  
а мне ведь, Лиза, только тридцать пять!  
Как дальше буду? Больше нету силы...  
Ах, если б у меня любимый был,  
уж как бы я тогда за ним ходила,  
пускай бы бил, мне только бы любил!  
И выйти бы не думала из дому  
и зорко берегла бы красоту.  
Я ноги б ему вымыла, родному,  
и после воду выпила бы ту...»

Об отсутствии внутренней свободы, как о причине, почему задыхается любовь, рассказывает Ольга Бергольц в стихотворении «Ответ» («Новый мир» № 8, 1956):

«Друзья говорят: — Все средства хороши,  
чтобы спасти от злобы и напасти  
хоть часть трагедии, хоть часть души...  
А кто сказал, что я делюсь на части?  
И как мне скрыть — наполовину — страсть,  
чтоб страстью быть она не перестала?..  
Нет, если боль — то вся душа болит,  
а радость — вся пред всеми пламенеет.  
И ей не страх открытой быть велит,  
ее свобода — то, что всех сильнее.»

С. Сартаков в повести «Горный ветер» («Октябрь» №№ 2 и 3, 1957) рассказывает о несовместимости человеческой любви с тем, чего требует от человека партийная власть.

Старый академик говорит комсомольцу:

«— Для меня в моей молодости самым драгоценным в мире была моя девушка, потом жена. Для нее текли все реки и солнце светило. А у тебя разве не так?

— А работа? Производство?

— Что работа? Дорогой мой, как легко работалось мне тогда! О, вот тогда я действительно мог сдвигать с места горы. Для нее! Для нее! Ах, какая это великая сила любовь!

— По-вашему, так любовь прямо сильнее всего? «Для нее, для нее!» А по-моему, для родины, для государства прежде всего должен работать и жить человек!

— Неужели ты сможешь сказать любимой девушке: «Ты самая лучшая в мире после нашего государства»? или «Я буду любить тебя, но меньше родины!» Вот ведь до чего можно дойти с формулами...»

Автор явно не решается написать то, что знает каждый советский читатель: впереди «родины» и «государства» повсюду стоит еще «партия» — для любви остаются задворки.

Этим советским задворкам любви посвящен роман Галины Николаевой «Битва в пути» («Октябрь» №№ 3-7, 1957), одна глава которого так и называется — «Любовь на задворках». Роман в основном написан в 1956-м году, печатался он уже, когда Хрущев стучал кулаком на «беседах» с писателями в здании ЦК; окончание романа появилось после июньского пленума ЦК 1957 г. — все это не могло не ска-

заться на романе: повсюду заметны калечащие его переделки, вставки на «хрущевские мотивы». Но одну тему романа писательнице удалось сохранить — тему замордованной любви советского человека.

Героиня романа Тина Карамыш в детстве росла одна-одинешенька на далеком Алтае. Отец — крупный офицер погранвойск НКВД — и мать жили по пограничным заставам. Приезжали они к Тине редко:

«Когда они уехали, Тина устроила дом для них в пещере меж тремя соснами. Она выбирала две гальки — большую черную и маленькую белую, или два пера — большое черное и маленькое белое, или две шишки — большую темную и маленькую светлую. Это были папа и мама. Она водила их гулять, кормила их и укладывала спать.

Однажды Тина услышала разговор соседки и приезжей женщины:

— Как же мать дочку покинула? — спрашивала приезжая. — Коли девочке туда нельзя, так ведь матери сюда можно!

— Девчонка не конь, цыган не украдет, — ответила соседка. — А на такого орла, как Борис, каждая польстится. Верка совсем немудрая была девка, да прицепилась к нему, безо всякого стыда. Он ее вроде пожалел...

Два пера — черное и белое — поднятые «на прогулку» на сосновую ветку, так и остались лежать на ней...

— Все кругом теперь ответственные. Вовсе дома не стало! — пожаловалась Тина учительнице. — В лес пойду! В лесу буду жить».

Так росла Тина в раннем детстве. Потом отец стал начальником штаба округа и Тина переехала к родным в город. Но и здесь девочка росла без семьи. Часто после школы она уходила к незнакомым людям:

«— Позвольте мне посидеть у вас, пожалуйста! — быстро-быстро, боясь остановиться, заговорила Тина. — Мама с папой все время на работе. Я одна и одна! Можно мне поговорить с вами?..

Домой она вернулась поздно. Мать была в командировке, а отец на работе.»

Пришла война. Отец-генерал и мать-лейтенант отправлялись на фронт. Тине было тринадцать лет.

«В самую последнюю минуту, когда загудел паровоз, мама задрожала, ткнулась лицом в широкую грудь Василисы Власьевны, а когда подняла лицо, оно было мокрое и искривленное, а губы с трудом вытalkingали слова:

— Василиса Власьевна!.. Дочку!.. Доченьку!.. Все, все!.. На всю жизнь!.. Девочку!..»

Однажды Тина, вернувшись со школы, застала Власьевну растерзанной, опухшей, заплаканной.

«— Оба!!! Милушка моя! Оба! — зарывав, крикнула Василиса Власьевна. — Как жили голуби, душеньки неразлучные, так и неразлучно и померли!»

В шестнадцать лет Тина осталась сиротой. С фронта приехал друг отца Игнатий Васильевич. Поселился в квартире Тиной. Умерла Васильевна. Тина росла красивой девушкой, и пожилой Игнатий Васильевич влюбился в нее. Тине он противен:

«У нее было такое чувство, словно он больной и хитро, тайно, исподтишка пришел к ней заразить ее своей серой кожей, своими морщинами, усталым, жалобным, больным взглядом.»

Игнатий Васильевич — председатель горисполкома, а затем — Обл-исполкома. Он умен. Он окружил Тину заботой, вниманием.

«— Поймите, я ничего не хочу от вас... До войны я работал прокурором... Может быть поэтому мне хочется видеть рядом именно такое существо. Вы во всем верны себе. Всегда чистый звук сам по себе... Около вас никого...»

Именно это желание остаться «самой по себе» в жизни, где чело-века только и заставляют отказываться от себя, берет в Тине верх:

«Чувство подопечности, «укрытости» охватило ее. Она всегда была сама по себе... Хорошо было чувствовать за своей спиной что-то доброе, опытное, укрывающее.»

Игнатий Васильевич усилил свое бережное внимание к Тине:

«Она готовилась к экзаменам в институт, училась музыке и живописи, занималась языками, ездила на охоту и рыбную ловлю.»

В конце концов Тина выходит замуж за Игнатия Васильевича — выходит, как когда-то отец женился на матери, — от чувства жалости.

«— Почему вы плачете? — спросил Тину Игнатий Васильевич.  
— Я не хочу, чтобы вы были несчастливы.»

Любви к мужу нет:

«— Обними же меня сама, Тина...  
В ответ печальное и беспощадное, виноватое и угрюмое:  
— Я не хочу...»

Но Игнатий умный и опытный муж.

«С каждым годом все больше привязывались друг к другу и счастье их возрастало.»

Председатель Обл-исполкома, бывший прокурор, он знал: Тину надо беречь от жестокой действительности и, главное, не предавать своей любви к ней. Он окружил ее интересными знакомыми, завоевал ее уважение.

Затем для его любви пришло испытание: арестовали их хорошего знакомого, честнейшего человека, профессора Гейзмана. Игнатий не мог не заступиться за невинного профессора — перед Тиной не мог: она не простила бы трусости человеку, который любил ее. И Игнатий заступился.

За заступничество Игнатия арестовали. Такое доказательство любви, самопожертвование ради любви к ней вызвали в Тине запоздалую любовь к мужу. Любовь еще больше выросла в месяцы,

когда она хлопочет за Игнатия — уже не от жалости, а от великого чувства сострадания.

Потом пришло известие о смерти мужа в тюрьме.

«К утру у нее начался выкидыш, ее отвезли в больницу, но и там не могли помочь. Организм, жаждущий смерти, выталкивал из своей глубины последнюю зацепку за жизнь. Выкидыш осложнился заражением.

Цельми днями она лежала, плотно сомкнув веки. Все внутри стало подобно открытой ране... Ночами и днями она непрерывно и безмолвно говорила сама с собой:

— Отца и мать отняла война. На какой войне отняты муж и сын?»

Из больницы Тина вышла с «тупым безразличием к себе и миру». Она поселилась в студенческом общежитии.

Через год, во время зимних каникул, переехала в рабочий поселок — в мезонин домика, в котором жил знакомый студент со старушкой-матерью.

«Володя был спортивной гордостью института. Красивый, жизнерадостный... Он не утруждал себя машиноведением.»

Володя влюбился в Тину — по-ребячьи покорно и восторженно. У старушки рак, ей хочется перед смертью женить сына. И Тина становится женой Володи — не по любви, а опять же от жалости к добрым, приютившим ее людям, и еще — от желания укрыться от «бесчеловечного мира»:

«Здесь можно было двигаться и дышать, отдохнуть сердцем и стать самою собой. Тине хотелось отгородиться этими стенами и жить в своем маленьком добром мире, где все понятно и все близко душе, где ничего не мучает ума и сердца непостижимой бесчеловечностью человеческого мира.»

Окончив институт, Тина и Володя стали работать инженерами на тракторном заводе. Жила она с мужем скорее как с младшим товарищем — ни любви, ни духовной близости.

На завод приезжает новый главный инженер Дмитрий Бахирев. Бахирев женат. Его брак похож на брак Тины и Володи.

«Семнадцатилетним парнем он снял комнату в рабочем поселке, у старого инструментальщика.

Ему навсегда запомнилась тишина тенистого сада..., белое, как кипень, и твердое, как картон, покрывало на постели, легкий шорох за стеной и внезапный, сладостный запах меда. Он оглянулся, но увидел только белую и гибкую руку, мелькнувшую за занавесками. На столе возле двери стояла тарелка оладьев, политых медом. Так впервые вошла в его жизнь Катя.»

Женился Бахирев, собственно, на катиных руках:

«Отчетливо видел лишь ее руки. Эти руки — очень белые, круп-

ные, сильные и красивые — то ставили на подоконник тарелку с вишнями, то подвигали на край стола стакан чая, то протягивали свежую газету.»

В очень сложной и тяжелой обстановке заводской жизни Бахирев встречается с Тиной — оба умные, сильные и оба одинокие, никогда не знавшие любви человека. Встретились и полюбили друг друга.

Вначале боролись со своей любовью, каждый старался бежать от нарастающего чувства в работу. Но работа была общей и убежать друг от друга некуда. Встречая Тину, Бахирев думает:

«Вот куда уходит девичья красота таких умниц!.. Гробят ее в чугун, землю, в вагранки!»

Все было против их любви: и работа, требующая всего их времени и всех сил, и партийность Бахирева, и брак его, и ее брак, и вся жизнь окружающая — любовь надо было прятать.

«Дождливыми вечерами, досадуя и страдая, они, как подростки, скитались по чужим парадным и лестницам...»

— Ну, кончим, Митя, — страдающим голосом сказала Тина. — Кончим, родной. Разве я не вижу, как тебе тяжело?

— Скажи другое. Скажи, что тебе тяжело.

— Ах, нет, я не о себе!.. Митя, для меня даже такие встречи, даже в вонючем подъезде — счастье. Но я не в силах видеть, как ты мучаешься... Митя, к чему это приведет?

Она заплакала... Она плакала при нем впервые. Он обнял ее.

— Ну, не плачь, ну, прости! Я скоро сам начну плакать от этой собачье-кошачьей жизни!»

Они стали встречаться в снятой Бахиревым на окраине комнатке. Встречались, мучаясь и страдая: за себя, за свою любовь, впервые пришедшую в их жизнь.

«— Большое всегда опасно, если у него нет возможности естественного развития... Большое требует осторожности. И тот, кто утрачивает осторожность..., — она остановилась.

— Что тот? — поторопил он.

— Тот должен быть готов к расплате.

— Чем и как расплачиваться?

Она думала вслух:

— Счастьем близких? Своею любовью?

— Как своею любовью?

— ...Для большой любви нужно большое дыхание. Любовь на задворках — это не для нас.

Оба задумались о том, что стало с их чувством. По-прежнему большое, оно становилось день ото дня одностороннее и уродливее.

Тина любила его за цельность натуры, но видела лишь в постоянном раздвоении. Она любила его за неуклонную принципиальность, но каждая их встреча была отступлением от его принципов. Она любила его за честность, но видела лишь опутанного ложью...

Его пленяла ясность, смелость, деятельность ее натуры, освежающей, как родниковая вода, но он все чаще видел ее печальной и усталой. Несмотря на свою выносливость, она все сильнее уставала.

И работа, и дом, и эти тайные свидания выматывали ее физические силы. Но еще больше была ее душевная усталость. Душа, так же как тело, устает и немеет от неестественного, согнутого положения».

Пришла неизбежная развязка: об их любви узнала жена Бахирева и другие. Тина, как погодинская Майя, уезжает. Бахирев приходит проститься с ней.

- «— Тина... Мы еще увидимся... Мы еще решим...  
— Молчи! Еще минуточку с тобой. Мне хорошо. Ведь ты рядом... Митя, если б все началось сначала?..  
— Я не отказался бы ни от одной минуты!..  
— Милый... Я так счастлива сейчас...  
— Лыдинка-холодинка..., — с болью и горечью шептал он. — Лыдинка-холодинка моя!  
— Прощай, Митя... Пора...  
— Подожди!  
Она отступилась от него: — Мы оба счастливы сейчас?  
— Да, — твердо ответил он. — Пока я рядом с тобой, я счастлив.  
— Ну, вот и все... Мне ничего в жизни не надо, кроме этих слов».

Оставшись один, Бахирев не находит себе места от горя:

«Счастье одних, построенное на несчастье другого?.. Уехала Тина... Любимая, друг, жена, единственная, которая могла бы так украсить, так обогатить, так осчастливить каждый час, каждый миг моей жизни!».

Почему же сильный, умный Бахирев отказался от всего этого? Может быть, из-за жены, которую никогда не любил? Или из-за детей, которые полюбили Тину? Нет, Бахирев отказался от любви потому, что для большой настоящей любви в жизни, которой он живет, места нет: остаться верным любви — значило пойти на открытый конфликт с окружающей действительностью, как пошел Игнатий — пошел и погиб. Для тех порядков, среди которых живут советские люди, любовь Тины и Бахирева не подходит — нужны «любята», рождающие браки, подобные браку Бахирева и Кати, Тины и Володи.

В одиночестве Бахирев думает, как бы переключаясь с погодинским Суходоловым:

«Мы встретимся еще. Когда? Через годы?.. За что расплачиваемся мы больно... За любовь?.. За ошибки давнего прошлого?.. За измену самим себе?.. За давнюю измену самим себе».

Читателю ясно, что «измена самим себе» не в неудачных браках, а в чем-то более глубоком, в том, что порождает эти браки без любви, в том, что люди сорок лет изменяют любви во имя ненависти.

Партийная власть многие годы требует от писателей изображать любовь, как некое стимулирующее, бодрящее средство для повышения производительности труда. Но в произведениях 1956-57 г. труд, работа обернулись средством, которым люди стараются забыть от несчастной любви, от безрадостной семейной жизни. Труд для большинства советских людей не творчество, не «дело чести, доблести и геройства», а горестное утешение, как для иных пьянство.

Бахирев, после отъезда Тины, идет на завод:

«Два долгожданных последних министерских приказа лежали на столе... Позавчера они казались ему двумя крыльями. Сегодня они были лишь двумя спасательными кругами..., чтобы выплыть из захлестнувшей его тоски... „Что же у меня еще осталось?“».

Таков по-сути и морской капитан Кирибеев в одноименном романе П. Сатина («Нева» №№ 5-7, 1956). Несчастный в любви капитан ищет утешения в опасном китобойном промысле. О любви он говорит так:

«Любовь заберет тебя, так ты хоть целый день в кочегарке промолотишь, а она держит тебя, как мертвый якорь морское дно! Любим-то мы по-старому. Так любили древние греки, римляне, славяне. А как по-новому любить?»

«Как по-новому любить?» — это значит: как совместить человеческую любовь, вечную, как жизнь на земле, с тем, что навязано людям партийной властью? Капитан ответа на свой вопрос так и не находит.

Даже партийные писатели, иной раз не подозревая об этом, показывают, что в жизни советского человека места для любви не остается. Так, А. Смирнов пишет в «Знамени» № 4, 1956 г.:

«Любой наш рабочий, пожалуй, скажет, что вся его судьба связана с заводом, что его биография — это заводские пятилетки».

Где уж тут место для любви, той любви, о которой говорит старый академик в повести С. Сартакова: «Для меня самым драгоценным в мире была моя девушка, потом жена. Для нее текли все реки и солнце светило».

Заслуга советских писателей в том, что они в 1956-57 г. сумели, хотя бы отчасти, рассказать правду о любви в Советском Союзе; о том, что партийные порядки всегда, по природе своей, направлены против больших человеческих чувств.

История человечества и ее литературные памятники показывают: все, что в жизни общества противостояло любви, этой основы жизни на земле, — рано или поздно рассеивалось как пыль, рассыпалось, как труха.

Безнадежный конфликт между партийным режимом и человеческой любовью говорит о неестественности этого режима, а тем самым о его обреченности.

# Не бойся — правда свое возьмет!

Павел Нилин в «Жестокости» справедливо пишет: «Врать — это значит всегда чего-то бояться». Но не менее справедливо будет сказать и так: говорить правду — значит не бояться! Отсутствие страха и правдивость — звенья одной неразрывной психологической цепи.

Поэтому советский человек после Сталина, после того, как в нем стал ослабевать страх перед властью, заговорил о правде. Именно это проходит красной нитью в литературных произведениях 1956-57 г.

У Былинова в повести «Рота уходит с песней» офицер военного времени — мобилизованный доцент литературы говорит политработнику:

«— Надо думать, что правда всегда одержит верх. Только иногда слишком долго ее ожидаешь».

Советский человек, долгие годы проживший в атмосфере кривды, начинает требовать правды во всем. У С. Залыгина в повести «Свидетели» («Новый мир» № 7, 1956) говорится:

«Если кто-то изменил не великой, а самой простой, самой обыкновенной житейской правде, значит он изменил людям ради себя... Где-то в чем-то эта измена несла ему, лично ему, выгоду».

Поэт Марк Соболь пишет в «Литературной Москве» № 2:

**«Правда жизни — самый лучший лекарь».**

Ев. Евтушенко в поэме «Станция Зима» говорит:

**«Чего хочу? Хочу я биться храбро,  
Но так, чтобы во всем, за что я бьюсь,  
Горела та единственная правда,  
Которой никогда не поступлюсь».**

Знаменательный разговор о правде происходит между четырьмя колхозными коммунистами в рассказе А. Яшина «Рычаги»:

«— Но где же все-таки правда?..

— Зачем тебе правда, ты сейчас кладовщик.

— Ну, правда — она нужна. На ней все держится. Только я, мужики, чего-то не понимаю. Не могу понять, что у нас... делается? Вот ведь сказали — планируйте снизу... А от нашего плана опять ничего не осталось. Вот тебе и правда!..

— Правду у нас сажают только в почетные президиумы, чтобы не обижалась да помалкивала.

— Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима...

— Правда, брат, она есть правда... А вот тебя посади в почетный президиум, ты и перестанешь землю видеть».

После такого «доверительного» разговора о правде, в рассказе начинается партсобрание. Как только слово было предоставлено участнику этого разговора — председателю колхоза, он тут же начал выкрикивать казенные слова, вроде: «мы не провели разъяснительной работы с массой». «Мы с вами являемся рычагами партии... — на это нам указали в райкоме и райисполкоме...»

«Шукин толкнул в бок Коноплева и шепнул ему:

— Видел, что делается? Узнаешь ты его сейчас?

— Ладно, уж не мешай ему. Так надо. Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход.

— А правда как?

— Правда — она свое возьмет. Она, брат, скоро дойдет..., Она прогремит!».

Читателю ясно: в жизни по партийной указке свыше правды нет, но рано или поздно «правда свое возьмет, она прогремит!»

Ослабление страха перед властью породило в советском человеке не только разговоры о правде и поиски ее, он уже начинает и поступать «по правде». В рассказе Ю. Нагибина «Свет в окне» уборщица Настя, несмотря на запрет директора Дома отдыха, открывает заброшенную для высокого начальства квартиру и идет туда с дворником Степаном и детьми отдыхать: дети смотрят с Настей телевизор, Степан катает шары на бильярде. В темноте ночи директор видит «свет в окне» запертой для простых смертных квартиры:

«Она решилась, она нарушила запрет! Открыто, вызываясь проникла в этот очаровательный мир, воцарилась в ней полноправной хозяйкой и ввела в него Степана. Со странным замиранием ощутил Василий Петрович, что он видит сейчас что-то очень хорошее, очень правильное, очень нужное... А затем Василий Петрович орал, грозил, топал ногами, заходясь и пьянея от собственного крика. Он так старался, словно рассчитывал, что его яростное негодование достигнет ушей того, чьи права были столь грубо нарушены. Неизвестно, услышал ли его сам, но нарушители остались глухи к директорскому гневу. Держа за руки детей, они прошли мимо директора со спокойным и строгим достоинством».

Прошли с достоинством людей, поступивших по правде. В этой маленькой сценке — целая программа действия: не бойся! Если поступаешь по правде, не бойся!

В рассказе И. Меттера «Директор» («Знамя» № 7, 1956) молодой директор школы говорит своему начальству:

«— Вы меня не заставите врать... Ложь складывается из тысячи мелочей... Для того, чтобы зло искоренить, надо его назвать. И не только по фамилии, как частный случай, а как явление!».

Не случайно хрущевская власть так испугалась «Света в окне» и «Рычагов» — этих маленьких рассказов о тоске советского человека по правде, с призывом поступать по правде. Иначе и быть не могло — власть, для которой обман и людской страх являются основными методами государственной политики, не могла не увидеть в этих рассказах угрозу для себя.

Но несмотря на хрущевскую черную реакцию, несмотря на запреты и угрозы, советские писатели успели во всеуслышание сказать то, о чем говорят и думают сегодня в народе, то, что говорит жена старого рабочего в рассказе А. Вальцевой «Квартира № 13»: «Бояться ничего не надо — все одно правда свое возьмет!»

## Послесловие

Кто летал на самолете в пасмурный день над облаками, тот, конечно, помнит, как выглядят облака сверху: не то белая холмистая пустыня, не то покрытое снегом застывшее море — все мертво, однообразно, даже тени нигде не видно. Иной раз кажется, что под этой белой однообразной пустыней ничего нет — ни земли с ее горами, лесами, реками, городами, ни океана с его серебристой чешуей и редкими пароходами... Но вот подуют какие-то воздушные течения — по мертвой пустыне то тут, то там появляются синие пятна, внизу проплывают какие-то фантастические провалы. Пролетая над таким пятном, пассажиры вдруг видят под самолетом просвет — в гигантской глубине плывет земля. Всей земли не видно, только отдельные места — одни ясно, другие сквозь дымку рассеянных облаков. Пилоту, штурману, а то и иному, много летавшему по трассе пассажиру для ориентировки достаточно и такого просвета.

Эта картина напоминает советскую литературу. Много лет она для читателей была вроде однообразной пустыни облаков, скрывающей советскую землю. Редко-редко попадались небольшие «окна», и то обычно затянутые густой дымкой. Пять лет тому назад с земли подул сильный ветер событий, — через три года превратились в воздушное течение, достигшее облачного неба. В 1956 году оно прорвало облачный покров, и в образовавшемся просвете стала видна советская земля — местами ясно, местами сквозь остатки облаков и туч.

Одни пассажиры, привыкшие к пустынности и однообразию облаков под самолетом, проспали просвет, другие не обратили внимания; те, кто смотрел за окно, в большинстве не знали трассы и ничего внизу не разобрали, даже те, кто сделал на память фотографические снимки открывшейся в просвете земли.

Достаточно прочесть критические статьи в европейской и американской печати о романе В. Дудинцева «Не хлебом единым», вышедшем по-английски в Лондоне, Нью-Йорке и по-французски в Париже, чтобы увидеть, что иностранные «пассажиры» мало что в нем поняли: о книге, которую на советской земле зачитывают до дыр, которую вот уже год как поносят партийные вожди, большинство западных критиков пишут: что же в ней интересного? Какой же это роман!

Среди «пассажиров», заглянувших в «просвет», не мало и эмигрантов, но большинство из них мельком посмотрели в окно — «чего там смотреть — то же самое!» или смотрели, забыв снять свои эмигрантские «очки». Но были и такие, кто смотрел внимательно, стараясь не пропустить ни одной подробности открывшейся внизу советской земли.

К сожалению, наблюдения их разбросаны в разрозненных газетных статьях и большей частью в эмигрантской печати.

Автор настоящей книги во время открывшегося «просвета» делал заметки — путевые заметки человека, много на своем веку походившего по той земле, которая открылась в этом «просвете».

На Западе часто не верят свидетельским показаниям советских эмигрантов, не без основания подозревая их в пристрастии, в невольных или вольных искажениях. Настоящая книга в большей части состоит из фотографий — цитат из произведений советских писателей и поэтов. Сделал это автор умышленно, зная, что на Западе многие склонны верить советским источникам.

Для эмиграции книга может оказаться интересной тем, что фактический материал ее может заставить некоторых эмигрантов пересмотреть свое давно установившееся, скажем проще — устаревшее отношение к происходящему в Советском Союзе, в частности, отношение к советской литературе и советским писателям.

Другая задача, которую ставил себе автор, — по силе возможности обобщить произведения советской литературы 1956-57 г., потому что сами советские писатели сделать этого не имеют возможности. В начале «просвета» они много писали и говорили о своем писательском творчестве, о новых задачах советской литературы; во второй половине 1956 г. были сделаны и первые итоги; но теперь, когда ветер хрущевской реакции закрыл «просвет», подвести итоги своего нового опыта советские писатели не могут. Наш долг сделать это за рубежом — пусть слабее, чем сделали бы сами советские писатели, — но сделать.

Что говорили писатели в СССР в начале 1956 года? Галина Николаева в статье «За один год» («Знамя» № 4, 1956) писала о гражданской совести писателя, о примере русских классиков:

«Отрыв от жизни народа ведет писателей к забвению своего гражданского долга, к забвению великих традиций русских классиков, которые были совестью России».

Корней Чуковский в статье о А. Блоке («Литературная Москва» № 1, 1956) писал о необходимости повседневной писательской борьбы за правду, как о непременном условии будущего всеобщего освобождения:

«Именно потому, что Блок повседневно привык служить самой маленькой, житейской, мелкой правде, он и мог, когда настало время, встать за всенародную правду».

Борис Пастернак в том же номере альманаха «Литературная Москва» в статье о Шекспире писал о возможностях иносказательности в литературе:

«Английские хроники Шекспира изобилуют намеками на тогдашнюю злобу дня... Чтобы узнать новости. — замечает Дж. Б. Гаррисон в „Жизни Англии в дни Шекспира“, — сходились в питейных и в театрах. Драма говорила обиняками. Не надо удивляться,

что простой народ так понимал эти подмигивания. Намек касался обстоятельств, близких каждому».

В. Озеров, подводя первые итоги литературного «просвета», писал в статье «Живые нити времени» («Знамя» № 9, 1956):

«Какие же произведения оказывались в центре читательского внимания, оживленных обсуждений, споров, дискуссий? Прежде всего те, которые по-настоящему актуальны, наполнены дыханием современности. И это естественно».

О появившейся в советской литературе человечности, которая по природе своей направлена против бесчеловечной власти, писал поэт Леонид Мартынов («Октябрь» № 6, 1956):

**«Жизнь людская дорожает.  
Это прямо поражает,  
Убивает наповал  
Тех,  
Кто  
Ею  
Торговал!»**

С конца 1956 года журналы опять стали заполняться многословными рассуждениями о «мастерстве» мертвых М. Горького, Серафимовича, А. Толстого, русских и западных классиков. Очень редко в этой литературной жвачке писателям удается, прибегая к методу сравнения, протащить живую мысль, как сделал это, например, Илья Эренбург в статье о Стендале в журнале «Интернациональная литература».

Советские писатели не могут не только подвести итоги своего творчества за период 1956—57 г., многие из них не могут опубликовать даже своих произведений. Тому пример Борис Пастернак — его роман «Доктор Живаго» издательство «Советский писатель» должно было издать в 1956—57 г., но так и не издало. Правда, роману Пастернака повезло — рукопись его в 1956 г. попала за границу, в ноябре 1957 г. «Доктор Живаго» вышел в Милане на итальянском языке. Выйдет роман и по-английски в Англии и в США, и по-французски в Париже, и по-немецки, несмотря на все попытки советского правительства и коммунистических партий помешать его изданию за границей. Уже после издания на итальянском языке, литературная критика писала о романе «Доктор Живаго», как о самом крупном литературном произведении последнего десятилетия (парижская газета «Ле Монд»), а может быть и самым значительным произведении 20-го столетия (итальянский писатель Игнацио Силоне).

А сколько романов, повестей, рассказов, стихотворений советских писателей и поэтов так и не увидели света?! Но сам факт, что писатели пишут «несогласные» произведения, пишут, несмотря на невозможность их издания, показывает, что писатели не сдаются — словно они уверены в новом литературном «просвете». Если прислушаться к мертвой тишине в советской литературе, наступившей вскоре после июньского пленума ЦК КПСС 1957 года, все-таки можно услышать какое-то движение, какие-то звуки, о которых писал С. Гудзенко:

**«Какая тишина! И лишь большие птицы  
бьют крыльями, чтоб жить не разучиться».**

В этой кладбищенской тишине советской литературы, особенно важно громко говорить об ее опыте 1956-57 г., особенно важно его понять и сделать из него выводы.

Те, кто хочет понять смысл и особенности этого периода советской литературы, должны перечитать статьи Салтыкова-Щедрина, в которых он писал о русской литературе в период перед Освобождением от крепостного права; особенно тем, кто не видит «ничего особенного» в произведениях советских писателей, опубликованных в 1956-57 г.

Вот одно из высказываний Салтыкова-Щедрина:

«То было время, когда слово служило не естественной формой для выражения человеческой мысли, а как бы покровом, сквозь который неполно и словно намеками светились очертания этой мысли; и чем хитрее, чем запутаннее сплетен был покров, тем скорбнее, тем не-терпеливее трепетала под ним полная мощи мысль и тем горячее отдавалось ее эхо в молодых душах читателей и слушателей! То было время, когда мысль должна была оговариваться и лукавить, когда она тысячу раз вынуждена была окунуться в помойных ямах житейского базара, чтобы выстрадать себе право хотя однажды, хотя на мгновение засиять над миром лучем надежды, лучем грядущего обновления! И чем тяжелее был гнет действительности, тем сильнее крепла в сердцах бодрых служителей истины вера в будущее, вера в человечность!»

(1861 г. Сатиры в прозе. «Литераторы-обыватели»).

Нью-Йорк, январь—декабрь 1957 г.

Издательство: Z O P E  
München 2, Gaiglstr. 25  
Deutschland — Germany